Малюгин

Армагеддон

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Диалог «Дракон», за исключением двух небольших отрывков, вставленных позже, написан в начале войны, но не мог появиться в свет вследствие запрещения цензуры. После революции он был (с большими пропусками) напечатан во второй книжке «Летописи» за 1917 год. Характер вопросов, затрагивавшихся в диалоге, делал возможным помещение его в названном журнале, несмотря на расхождение во взглядах между редакцией и автором, который, при крайне отрицательном отношении к идеологии, господствовавшей в 1914 году, с начала войны принял «оборонческую» точку зрения. Статье была предпослана оговорка. Темы «Дракона» в настоящее время вряд ли представляют интерес, и автор не стал бы перепечатывать диалог, если бы последний не был органически связан со второй частью книги: под названием «Колесница Джагернатха» собраны заметки одного из действующих лиц «Дракона». Они представляют собой, большей частью, случайные и беспорядочные отражения чужих слов в уме односторонне мыслящего человека. Отсюда и чрезвычайное обилие цитат, и утомительное единство настроения. Книга, состоящая из этих двух частей, печатается «на правах рукописи».

- Армагеддон (из записной книжки)
- Предисловие
- Дракон
  - ○
- Колесница джагернатха
- ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131

- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135

Армагеддон (из записной книжки)

И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:

Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя...

И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон...

И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!

Откровение св. Иоанна, гл. 16

Serpens nisi serpentem comederit non fit Draco{1}.

Наш цивилизованный мир — великий маскарад. Есть там рыцари, духовные лица, воины, доктора, философы, адвокаты — и кого только нет еще. Но все это лишь маски, за которыми в большинстве случаев скрываются спекулянты. Один надевает личину права, чтобы удобнее ограбить соседа; другой для той же цели пользуется маской патриотизма или общественного блага, третий — костюмом религии. Знай же, что на маскараде этом яблоки сделаны из воска, цветы — из шелка, рыбы — из картона, и все, все там прах и комедия. Вот двое людей так вдумчиво беседуют друг с другом. Знай же; один из них продает гнилой товар, а другой платит фальшивой монетой.

Шопенгауэр

Предисловие

Диалог «Дракон», за исключением двух небольших отрывков, вставленных позже, написан в начале войны, но не мог появиться в свет вследствие запрещения цензуры. После революции он был (с большими пропусками) напечатан во второй книжке «Летописи» за 1917 год. Характер вопросов, затрагивавшихся в диалоге, делал возможным помещение его в названном журнале, несмотря на расхождение во взглядах между редакцией и автором, который, при крайне отрицательном отношении к идеологии, господствовавшей в 1914 году, с начала войны принял «оборонческую» точку зрения. Статье была предпослана оговорка.

Темы «Дракона» в настоящее время вряд ли представляют интерес, и автор не стал бы перепечатывать диалог, если бы последний не был органически связан со второй частью книги: под названием «Колесница Джагернатха» собраны заметки одного из действующих лиц «Дракона». Они представляют собой, большей частью, случайные и беспорядочные отражения чужих слов в уме односторонне мыслящего человека. Отсюда и чрезвычайное обилие цитат, и утомительное единство настроения.

Книга, состоящая из этих двух частей, печатается «*на правах рукописи*».

Дракон

Ein, zwei, Polizei,
Drei, vier, Offizier{2}

Из немецкой начальной хрестоматии

Химик. Знаю заранее, что мы с вами ни в чем не сойдемся, а всего менее в вопросах политики. Но химия меня утомила, я рад освежиться хотя бы бесплодным спором.

Писатель. А, вы идете из лаборатории?

Химик. Да, я был занят со своими ассистентами работой на государственную оборону. Делаем что можем.

Писатель. Вы ведете исследования по Handbuch'ам и Lehrbuch'ам. Химические вещества берлинского завода Кальбаума вы взвешиваете на геттингенских весах Сарториуса, растворяете в эрленмейеровских колбах, нагреваете на бунзеновской горелке, титруете из иенских бюреток, осаждаете на лейпцигских фильтрах, рассматриваете в цейсовский микроскоп и сжигаете в либиховской печи. В минуту отдыха вы с ассистентами ругаете немецкую культуру.

Химик. Надеюсь, вы не собираетесь выступить в роли защитника «немецкой культуры»?

Писатель. Успокойтесь, не собираюсь. Как и вы, как и все, я заключаю слова «немецкая культура» в самые уничтожающие кавычки и подписываюсь под любой тирадой против Германии с каким угодно числом восклицательных знаков. Констатирую только, что за время войны знаки препинания вытеснили из полемического обихода аргументы почти так же легко, как бумажные деньги заменили золотую монету.

Химик. Знаю, что вы рады при случае пустить наудачу во все стороны несколько «коварных инсинуаций» (вот вам еще кавычки). Вы можете сказать о себе, как Бейль: mon métier est de semer des doutes{3}. Но в нынешнее время сомневаться — самое неподходящее ремесло. Подумайте об этом, старый дилетант и скептик.

Писатель. Ругательства ваши не оскорбительны. Слово дилетант выдумано малоспособными людьми. А скептик... В день окончания войны вся Европа будет состоять из скептиков. Когда видишь, что сотни миллионов людей, живущих по одну сторону границы, единодушно уличают во лжи сотни миллионов людей,

живущих по другую сторону, невольно берет сомнение: существуют ли действительно общеобязательные истины или даже здравые нормы человеческого рассудка. Из двух враждующих сторон, по крайней мере, одна лжет, если не обе. Тот «интерес», который, говорят, правит миром, толкуется в двадцатом столетии почти столь же грубо и бессмысленно, как пять тысяч лет тому назад. Но отчего передовые мыслители так боятся признать эту неоспоримую истину и упорно желают вдвинуть вопрос в рамку несколько фантастического свойства, — вот загадка, над которой, впрочем, было бы напрасно ломать себе голову. «В философии удивление — признак ума», — говорит старинный мыслитель. В политике удивление скорее признак глупости. Поэтому утешительно хоть то, что вызывать его становится господам политикам из года в год все труднее. В середине прошлого века австрийский государственный деятель еще мог, напри мер, «удивить мир своей неблагодарностью». Теперь, согласитесь, этим удивить весьма мудрено.

Химик. Поезжайте в Германию и выскажите свои скорбные мысли тем, на кого падает ответственность за нынешнюю бойню.

Писатель. Ответственность? «Пред небом и историей», не так ли? Поверьте, на суде истории особенно виновными будут побежденные. Победителей порою судят, но всегда чрезвычайно снисходительно.

Химик. Приятно слышать: ведь в конце концов мы победим.

Писатель. Кто знает? Еще Макиавелли говорил четыре столетия тому назад: «Не должно сомневаться в могуществе Германии, ибо много у нее людей, богатств и оружия» — «Della potenza della Alamagna non debbe dubitare, perché abbonda di uomini, di recchezze e di armi». Вдобавок на всеобщую мобилизацию талантов наша власть сумела ответить всеобщей мобилизацией бездарностей. Наконец, на стороне немцев сражается наш непобедимый внутренний враг, князь Хованский. Возможно, что в этом странном матче Гинденбурга с Николаем Чудотворцем последний рано или поздно переутомится. Впрочем, не люди, а стихии испокон века спасали от недругов святую Русь. Я твердо надеюсь, что нас вывезет недостаток съестных припасов в Германии. Правда, хлеба там, по-видимому, кое-как хватит до нового урожая, но ведь не единым хлебом жив человек: ему нужны еще мясо и картофель. Как бы то ни было, главный победитель в европейской войне уже известен: это Северо-Американские Соединенные Штаты. Известен и главный побежденный; человеческий разум.

Химик. Противоположное общее место. La raison finit toujours par avoir raison{4}.

Писатель. Mais elle n'est pas très pressée[5]. Грозный смысл величайшей из исторических трагедий, — по-видимому, в том, что она совершенно бессмысленна. Прокуроры и следователи, разыскивая преступников, руководятся испытанной формулой: is fecit cui prodest[6]. Приложить эту формулу к величайшему из исторических преступлений очень мудрено: кто-то fecit и, в сущности, никому не prodest, хотя бы война кончилась полной победой одной из коалиций, что к тому же маловероятно.

Химик. В том-то и дело, что есть некоторая разница между уголовщиной и войной. В возникновении этой последней во всяком случае нисколько не повинны ни мы, ни даже наше многогрешное правительство. Немецкие газеты полны сообщений о хитрых и коварных происках русских государственных мужей. Непостижим престиж, которым пользуются за границей наши действительные тайные Макиавелли. Даже такой умный человек, как Карл Маркс, чуть ли не до конца своих дней считал Бисмарка орудием в руках Петербургского кабинета («das blosse Werkzeug des Petersburger Kabinets»). Между тем наше правительство уже потому не может быть виновным в возникновении войны, что оно смертельно ее боялось и боится — правду сказать, не без основания.

Писатель. Я то же думаю. Впрочем, в практическом отношении это обстоятельство для меня решающего значения не имеет. Кто бы ни был виновником войны, наш долг остается неизменным. «Вино откупорено, его нужно выпить». Я только не нахожу нужным уверять, что это отвратительное вино — божественный и благодетельный нектар. Я даже утверждаю, что все мы им отравимся.

Химик. Я, напротив, смотрю в глаза будущему без боязни. В качестве дарвиниста я жду от войны более сносных условий борьбы за существование и победы лучших. В качестве политика — установления разумных этнографических границ.

Писатель. Ноздрев показывал Чичикову границу своих угодий; потом, однако, оказалось, что ему принадлежат земли по ту и по другую ее сторону. Этнографические границы, о которых вы говорите, обладают тем же чудесным свойством. Нам ведь совершенно неизвестно, какой этнограф будет их устанавливать. Малоубедительны для меня и ваши экскурсии в область дарвинизма. «Судьба жертв искупительных просит». «Одни умирают, чтобы другие могли жить». «Конкуренция уменьшится, борьба за существование станет легче...» Три выражения одной мысли, разнящиеся по красоте слога. Любимая философия тех, кто рассчитывает не попасть в число искупительных жертв. Но эти добрые люди совершают насилие над статистикой. Ценности

гибнут еще в большем масштабе, чем люди, и в Европе, наверное, будут даже не прежние, а гораздо худшие условия борьбы за существование.

Химик. Я не имел в виду соображений экономической необходимости, хотя и они, бесспорно, вами рассматриваются очень узко: не на год и не на десятилетие должны мы заглядывать вперед. Но я говорил о торжестве высшей духовной культуры. Победит тот, кто заслуживает победы.

Писатель. Знаю, слышал. «Вся добродетель народа проявляется на поле битвы. Он там весь. Если он побежден, значит, его победитель был нравственнее, деятельней, проницательней, умнее и храбрее». Так писал в свое время Виктор Кузен. Защитников этого взгляда всегда в изобилии поставляет самая могущественная военная держава данного исторического периода: до 1870 г. Франция, теперь Германия, в отдаленном будущем, быть может, Россия. Опровергнуть это положение трудно: оно прочно забронировано от логики непроницаемым панцирем национального самохвальства... Мы говорим, что в 1866 г. победил прусский школьный учитель. Интересно было бы, однако, увидеть армию, состоящую из Ньютонов и Гете, хотя бы и в призывном возрасте. Не абиссинский ли школьный учитель победил итальянцев Баратьери. Не турецкий ли школьный учитель создал боевую славу Турции? Мы говорим, что свободный, культурный человек как солдат ценнее, чем вымуштрованный раб или заведенный автомат. Однако германские автоматы завоевали Бельгию и часть Франции. Нынешняя война, революционизирующая все области, все догмы, все привычки нашего мышления, вероятно, произведет переворот и в этой специальной идеологии. Я склонен думать, что для победы скорее нужен известный juste milieu{7} умственной культуры и политической свободы.

Химик. Для победы в первую очередь нужно сознание правоты своего дела.

Писатель. Сознание или иллюзия? В роковой день Шарлеруа прусская гвардия столкнулась с сенегальскими стрелками. В этот день, по странному капризу случая, прогресс и свободу защищали африканские дикари, тогда как реакция и насилие были представлены в образе культурных баронов, вышедших из Боннского университета и из военных академий... — «Наше дело правое, — говорят немцы. — Крупповские «Берты» защищают его вескими аргументами (60 пудов каждый). А так как французы могут противопоставить им лишь шнейдеровские доводы по 30 пудов штука, то правота нашего дела и превосходство нашей цивилизации не подлежат никакому сомнению». Так откровенно,

впрочем, немцы не выражаются: это не принято. Но таков единственный смысл нынешних речей: говорят же теперь (и вполне серьезно) о моральном значении отдельных побед или о симпатиях, порождаемых ими в нейтральных странах. При общей оценке шансов враждующих сторон обыкновенно начинают с идейных и моральных оценок, а затем незаметно, почти бессознательно, переходят к подсчету штыков и к взвешиванию металлических аргументов. Сражение на Марне, к счастью, было выиграно французами. Но если бы у немцев оказалось еще полмиллиона солдат, еще две тысячи пушек, Париж мог бы быть взят. Для меня и в этом случае превосходство французской цивилизации над немецкой осталось бы столь же несомненным. Кем, где и когда была установлена прямая пропорциональность между силой и правом в этом лучшем из всех возможных миров?

Химик. Значит, вы стоите за бисмарковскую формулу: «Сила выше права»?

Писатель. Бисмарковскую? До Бисмарка ее высказал Лассаль («Kraft macht Recht»{8}), а до Лассаля — Гете («Man hat Zewalt, so hat man Recht»{9}).

Химик. Трогательная немецкая триада: канцлер, агитатор и поэт.

Писатель. То же самое говорит француз Прудон («La force prime le droit»{10}), а еще сильнее выражается другой француз, Гюстав Лебон («Le droit est la violence qui dure»{11}). Не напоминаю о союзном Гоббсе и о дружественном Спинозе. У Лассаля есть остроумная отповедь целомудренным немцам, которые корили его этой формулой. «Если б я создавал мир, — говорит Лассаль, — честное слово, я бы устроил его иначе: в моем мире право было бы выше силы. Но, к сожалению, я не принимал участия в сотворении мира».

Химик. В таком случае надо быть последовательным: значит, фраза о клочке бумаги, сказанная Бетманом-Гольвегом английскому послу, является точным отражением правовых норм?

Писатель. Существующих ныне правовых норм - разумеется. Поистине пример стойкой любви к науке являют те ученые профессора, которые теперь с самым серьезным видом читают международное право. Это не мешает, конечно, фразе Бетмана-Гольвега быть промахом. Циничные максимы государственной мудрости канцлеры должны держать про себя или в крайнем случае оставлять для посмертных мемуаров (и то нет: настоящий политических дел мастер — Талейран — оставил после себя мемуары такой голубиной чистоты, точно их писала тургеневская Лиза). Щеголять же «цинизмом» перед хладнокровным,

осторожным противником, готовым ухватиться за всякое слово, это бесспорно неудачная мысль; особенно в такие дни, когда сочувствие общественного мнения ценится на вес золота (даже в буквальном смысле, ибо можно заключить заем). Канцлеры должны твердо помнить, что божественное лицемерие — основа государственного бытия. Недаром Наполеон считал недопустимым сценическое представление «Тартюфа»... Мы имеем возможность вернуться в немецкой культуре.

Химик. Я перебью вас. Прошу не смешивать меня с вульгарными немцеедами, — это слишком бы обличило вашу высокогуманную позицию в споре. Немецкую культуру без кавычек я высоко ценил и ценю. Но Божеские почести генералу Гинденбургу для нее весьма тревожный симптом. Победив одну Францию, Германия, по свидетельству Ницше, поглупела. Если б она победила весь мир, она, наверное, стала бы слабоумной. Меня глубоко возмущает гигантская переоценка ценностей, произошедшая на наших глазах в Германии. Вместо идеализма вырос национализм, вместо Канта — Крупп и вместо Шиллера — шуцман.

Писатель. Позвольте вам заметить, что ваша параллель, вполне удовлетворяя потребностям дня, вряд ли может претендовать на особую глубину или на историческую верность. Пресловутый гимн «Deutschland, Deutschland über alles» написан радикалом Гофманом фон Фаллерслебеном в самый разгар идеалистического движения и положен на музыку набожнейшего из идеалистов Гайдна. Фихте, убежденный и крайний националист, вместе с тем генерал- аншеф немецкого идеализма, нечто вроде его Клаузевитца... Кстати о Клаузевитце. Знаете ли вы, что этот знаменитый русско-прусский генерал, которому глубокое знание военной теории не помешало попасть в плен к Наполеону, был философ и кантианец?.. Та Германия, где «аптекарь не способен приготовить лекарство, не сознавая связи своей деятельности с бытием вселенной», существовала больше в воображении Фр. Альбр. Ланге. Я не поклянусь, что Шиллер отказался бы подписаться под воззванием германских мыслителей. Автор «Потонувшего колокола» — носитель тех же традиций, что и автор «Колокола» просто; их подписи приблизительно равноценны. Беда именно в том, что идейные колокола звонят сами по себе, а эмпирические звонари живут тоже сами по себе, и цепь, которая связывает аптекаря с бытием вселенной, отличается чрезвычайной гибкостью. Свою связь с вселенной аптекарь сознает сегодня так, а завтра иначе; лекарства же он готовит сообразно с потребностями той улицы, на которой расположена его аптека.

Химик. Из нас двоих, оказывается, вульгарный немцеед не я, а вы. Один наш профессор не очень давно разоблачил Канта, отыскав между строк «Критики чистого разума» подробнейший план крупповских заводов (это открытие, кстати сказать, самостоятельно сделал во Франции Эмиль Бутру). Английский публицист Остин Гаррисон в своей книге «The Kaiser's War» документально доказал, что моральную ответственность за войну и военную идеологию несет Карл Маркс. Французский писатель Луи Бертран обвиняет в тех же грехах Гете. А вы — всю немецкую мысль?

Писатель. Вы совершенно меня не поняли. Я именно и доказываю, что звон не всегда отвечает за звонаря. Лю бопытно, однако, то, что в погроме немецкой мысли принимают живейшее участие сами немцы. По словам Герхарта Гауптмана, каждый германский солдат, отправляясь на войну, уносит в своем походном ранце книгу, — вы думаете, томик Самарова, Блема, Омптеды или другого военного беллетриста? Нет, кто Лютера, кто Шопенгауэра, кто Гете. Это Гауптман приводит, разумеется, в доказательство высокой культуры германского солдата. Я предполагаю, что j автор «Извозчика Геншеля» должен знать свой народ, и нс смею ему не верить. Но мне хотелось бы выяснить, кого, собственно, поносит Гауптман: немецкую мысль или немецкую армию. Если человек, перед тем как угостить неприятеля струей горящего керосина, прочитывает Нагорную проповедь, то это несомненное кощунство. Если же он перед атакой, отправляясь умереть за кайзера, взвинчивает себя чтением «Aphorismen zur Lebensweisheit»{12}, то, значит, он идиот. Помнится, Гауптман упомянул еще про Заратустру. Бедный «профессор экстраординарной философии»! Лет пятнадцать тому назад, когда одновременно были и моде Маркс и Ницше, в Заратустре находили чуть ли не все пункты Эрфуртской программы. Теперь из него целиком выведены гимн Лиссауера и трактат генерала Бернгарди... Дионисовское начало в понимании прусского фельдфебеля. Bestia blonde{13} в стальной каске. Думал ли Ницше, что из него будут стрелять, как из 42-сантиметрового орудия? Тот Ницше, который сказал: «Лишь там начинается человек, где кончается государство...»

Химик. Итак, по-вашему, немцы сегодня то же, что они были вчера?

Писатель. По-моему, взрыв коллективного умопомешательства, которым мы ныне любуемся, возможен во всякое время и — увы! — не только в Германии.

Химик. Неужели вам не совестно говорить о «коллективном умопомешательстве»? Это противопоставление своих взглядов

голосу заблуждающегося мира имеет всегда, извините меня, несколько комический характер. Могу вас уверить, что не вы одни замечаете темные пятна развертывающейся перед нами гигантской картины. Для того чтобы их заметить, не нужно особой проницательности или чрезмерной тонкости ума. Но мы о них молчим, помня мудрое правило Ривароля: «Разум слагается из истин, о которых надо говорить, и из истин, о которых надо молчать». Вы же из-за нескольких безобразных деревьев не видите великого прекрасного леса.

Писатель. Я надеюсь, что вы мне его покажете.

Химик. Кто не хочет видеть, тот безнадежно слеп... Как можно говорить о «коллективном умопомешательстве» в дни небывалого роста сознательности народных масс? Вы найдете теперь газету в самой глухой деревушке Сибири.

Писатель. Надо поздравить деревушку. Настало, значит, время, когда сибирский мужик понес с базара — правда, не Белинского и Гоголя, но передовую статью г. Суворина и военный роман г. Брешко-Брешковского. Культурный прогресс, по-видимому, сводится к уменьшению разницы в умственном росте между толпой и образованным меньшинством. Это уменьшение может быть достигнуто повышением уровня толпы и понижением уровня меньшинства. Следует признать, что мы идем по второму пути несколько быстрее, чем по первому. Умнейший человек умнейшей страны в мире — я говорю об Анатоле Франсе — в свое время рекомендовал рассматривать политические явления «с точки зрения Сириуса». Теперь он их рассматривает с точки зрения газеты «Matin». Я, впрочем, всегда думал, что первое правило человека, чрезмерно дорожащего логикой, — не брать уроков этой науки у великих людей.

Химик. Признаюсь, новый Анатоль Франс мне нравится гораздо лучше.

Писатель. О вкусах не спорят.

Химик. Да, лучше. Иронически-благодушная улыбка на устах француза показалась бы ныне скверной гримасой. Позвольте и вас спросить, — вы к тому же не Анатоль Франс: во имя какого Сириуса вы иронизируете над нынешними событиями? Неужели великое народное бедствие может служить темой для иронии?

Писатель. Аргументы ad hominem позвольте отклонить. Не будем горячиться и, главное, не будем ничего преувеличивать. Мы все с войной немного обжились и даже вы, вероятно, не целые ночи напролет точите слезы о великом народном бедствии. «Что такое общественное несчастье по сравнению с личной неприятностью?» — сказал генерал де Сегюр, видный актер наполеоновской трагедии, человек, проливавший свою кровь, а не

слезы, не чернила... и не кислоты.

Химик. А тем более — по сравнению с личным благоденствием, не правда ли? На фронте — ад и смерть, но в тылу развеселое житье... пока тыл не стал фронтом.

Писатель. Так в балете «Корсар» люди танцуют на тонущем корабле... «Le monde est un grand naufrage, la devise des hommes est sauve qui peut»[14], — говорит вечны и Вольтер. В дни величайшего крушения истории пусть каждый спасается, как может. Вы ушли в военно-промышленный комитет, — я ценю и одобряю. Но покорный слуга ваш не химик и вышел из призывного возраста: разрешите мне удалиться в глубь библиотеки, сняв с полки хотя бы Экклезиаста.

Химик. Сделайте одолжение. Что, однако, если в глубь вашей библиотеки ворвется немецкий улан?

Писатель. И в этом маловероятном случае мне не удастся обессмертить себя новым Noli turbare[15], так как я уеду двумя днями раньше. Я, впрочем, и не думаю иронизировать над народным бедствием, что было бы, разумеется, и глупо, и бессовестно. Но когда речь заходит о внешней политике, я вспоминаю слова Бомарше, повторенные при трагических обстоятельствах Наполеоном: Riens en pour ne pas en pleurer[16]. Если есть область, в которую за несколько тысяч лет истории не проникло ни одно новое слово, то именно царство внешней политики. Аксиомы, освященные мудростью веков, гласят, что государство тем счастливее, чем оно больше, и что ему тем лучше, чем хуже его соседям. К этому испокон века сводится вся практика международных отношений; и вот почему шифрованные соображения господ дипломатов неизменно проникнуты особым затхлым провинциализмом, а самые «глубокие» идеи знаменитых мастеров иностранной политики всегда оказываются на уровне понимания среднего органа желтой или черной прессы. Я восхищаюсь той легкостью, с которой разные Вольтеры превратились внезапно в фельдфебелей. Вы жалуетесь, что немцы «переменились». А вы сами, старый либерал — идеалист? Вы ничему не научились, но все позабыли. Боже мой, как много вы забыли! Если б я редактировал газету, я, быть может, попробовал бы печатать на первой странице выдержки из канонов нашего политического идеализма. Боюсь, они теперь производили б впечатление неуместной и бестактной шутки. Два человека, два знаменитых писателя, осмелились в 1914 году говорить языком, точно выражавшим их прежнюю связь с миром. Обоих улица сейчас же обвинила во всех смертных грехах до иронического происхождения включительно. Первого хоть поделом, потому что Бернард Шоу действительно ирландец; а второго опорочили

безвинно, ибо Ромен Роллан коренной француз.

Химик. Я не читал статей Роллана в швейцарской прессе, вызвавших негодование во Франции...

Писатель. Очаровательный Жорж Онэ так и пишет об авторе «Au dessus de la mêlée»{17}: «его *упрекают* в том, что он швейцарец».

Химик. Но памфлет Бернарда Шоу «Здравый смысл о войне» я прочел и нахожу его возмутительным. Это плохо скрытое английское «пораженчество».

Писатель. Вовсе нет. Бернард Шоу желает полного разгрома немецкого милитаризма. Я бы сокращенно выразил его «плохо скрытую» точку зрения следующим образом: «Хуже победы России есть только одно: это победа Германии». Разумеется, подобная точка зрения для нас обидна и не заслужена русским обществом. По крайней мере, я так думаю: русское общество сфинкс, а каждый передовик к нему Эдип; я не передовик и не Эдип, но, как член русского общества, не принимаю воззрений Шоу. Не закрываю глаз и на забавную сторону его выступления: Бернард Шоу, всю жизнь потешавшийся над мисс Гренди, получил достойное возмездие: он ныне, как Франциск Ассизский, проповедует Евангелье птичкам... и разным другим животным. Мы, впрочем, говорили не о Шоу, а о немецкой культуре. Предлагаю вам новую, свежую, никем еще не использованную тему — воззвание 93 германских мыслителей.

Химик. Когда я впервые прочел этот грубый, наглый вызов истине и здравому смыслу, мне стало больно, почти до слез больно за подписавших его знаменитых стариков, за человеческую мысль, за достоинство науки.

Писатель. Манифест германских мыслителей прежде всего глуп; это его главный недостаток. Но он глуп *типично*: его глупость защитного цвета.

Химик. Немецкий жанр: feldgrauer Idiotismus.

Писатель. Скажем лучше — жанр 1914 года. Защитный цвет один и тот же во всех странах. С внешней стороны манифест недурен. Он от Герхарта Гауптмана заимствовал энергию драматической формы («Euch, die Ihr uns kennt... Euch rufen wir zu: dlaubt uns, dlaubt!»{18}) от Зигфрида Вагнера — гробовую музыкальность стиля («Es ist nicht war...», «Es ist nicht wahr...»{19}), от Рихарда Деме- ля — образность отдельных выражений («der eherne Mund der Ereignisse»{20}). Франц Штукк изобразил волшебной кистью Вильгельма II в образе ангела мира с белыми крылышками на плечах. Карл Лампрехт выяснил благодетельную роль немецкого милитаризма в истории. Лабанд и Лист доказали юридическую правоту Германии, Гарнак поклялся в ней на

протестантской библии, а Кнепфлер — на католической. Наконец, Эйкен, Риль и Виндельбанд наложили печать мягкого кантианского идеализма на трогательное заключение манифеста, в котором несколько неожиданно появляется «высшее достояние человечества» («der höchste Besitz der Menschheit») и «наследие Гете, Бетховена, Канта» («das Vermächniss eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant»)... В общем, довольно плохое рассуждение на тему о любви к отечеству и народной гордости, примененное, как водится, к обстоятельствам места и времени. Habent sua fata libelli{21}. И даже не pro capite lectoris{22}. Решающим элементом является не книга, не читатель, а время: дата обеспечивает бессмертие немецкому манифесту.

Химик. Скорее имена его авторов.

Писатель. Лучшая часть воззвания, бесспорно, подписи. Авторов нужно, по-моему, разделить на несколько групп. Представителем первой, самой немногочисленной, я бы назвал знаменитого геттингенского математика Феликса Клейна. Об этом ученом кто-то заметил, что во всем мире он может говорить, не прибегая к популяризации своих мыслей, с одним лишь Анри Пуанкаре. Года два тому назад Пуанкаре скончался, и теперь Клейну вовсе не с кем говорить: его никто не понимает. Но зато и он никого и ничего не понимает. Феликс Клейн живет в мире четвертого измерения, уравнений седьмой степени и теории икосаэдра. В сентябре 1914 года к нему пришли юркие люди, сказали, что началась война и что нужно подписать манифест. Он, вероятно, с полной готовностью подписал поданную ему бумажку и снова углубился в теорию икосаэдра. С этого гениального маньяка, разумеется, нечего спрашивать.

Химик. К какой категорий причисляете вы профессора Оствальда?

Писатель. Он вас интересует как собрат по специальности?

Химик. Нет, не поэтому. Когда я впервые прочел во французской газете о шведском интервью Оствальда, я отказывался верить известию, тем более что, по некоторой беззаботности насчет науки, газета упорно называла знаменитого химика Остервальдом. Обратите внимание на следующее. Во-первых, Оствальд немец только по крови; он родился и долго жил в России. На последнем Менделеевском съезде академик П.И. Вальден величал его «гордостью русской науки». Во-вторых, Оствальд не дворянин и даже не пожалованный «фон»; он сын бедного ремесленника и очень этим гордится. В-третьих, Оствальд не консерватор, не Excellenz{23} и не придворный; он столп немецкого либерализма, фрондер по натуре, достаточно mal vu{24} в правительственных кругах. В-четвертых, Оствальд не

гелертер обычного немецкого типа; один из создателей современной физико-химии, он давно оставил эту науку и занялся философией, затем стал писать интересные психологические этюды, а в самое последнее время увлекался живописью и — в качестве председателя немецкого союза монистов — проповедью. До войны Оствальд высказывался как убежденный пацифист. Он выводил необходимость общего разоружения из принципов энергетики, — кто к чему, а солдат к солонине, — в частности из своего любимого научно-философского детища, из так называемого энергетического императива. «Совершенное устранение как потенциальной, так и настоящей войны, — писал он в своей книге «Философия ценностей», вышедшей накануне мирового конфликта, — безусловно в духе энергетического императива и составляет одну из важнейших культурных задач нашего времени». И этот vir animo liber{25} современной ученой Германии выступает ныне с проектом переустройства Европы на началах ее подчинения союзу центральных держав с Германией во главе!

Писатель. В настоящее время каждый генерал имеет свой план радикальной перемены мировой карты. Профессора, по-видимому, не желают отстать от генералов и не менее усердно работают над составлением различных проектов и над подыскиванием к ним аргументов политических, экономических, географических и исторических. Удивительного в этом нет ничего. Это разве только чуточку смешно. Смешно по двум причинам: во-первых, медведь, шкуру которого делят, пока еще рычит довольно грозно; а во-вторых, если медведь издохнет, то у профессоров, наверное, не спросят совета насчет дележа шкуры. У генералов спросят, а у профессоров не спросят.

Химик. Оствальд исходит из мысли о культурно-социальном мессианизме немцев: «Русские, — говорит он, — еще находятся в состоянии орды. Французы и англичане не вышли из стадии индивидуализма. Германия же успела подняться до организационной ступени культуры. Она создаст идеи коллективного труда, и вся Европа пожнет плоды ее грандиозного предприятия». В чем же, позвольте спросить, заключается организационная культура, которой так гордится Оствальд? Теперь установился обычай отрицать огульно заслуги немцев на поприще науки, искусства, литературы. Один французский публицист недавно доказывал, что немцы дали миру только плагиаторов или в лучшем случае подражателей. Гете, оказывается, важнейшее позаимствовал у Шекспира, Шопенгауэр всем обязан Вольтеру. У нас тоже г. Меньшиков разъяснил «позор Германии» подробным анализом «Фауста», в котором усмотрели

главным образом «чисто свиную психологию молодящегося старичка». Это пустое сквернословие следовало бы оставить. При критике немцев нам, русским, должно руководиться двумя поэтическими изречениями: «будь строг, но будь умен» и «я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи»... Мне хорошо известны точность немецких поездов, удобства гостиниц, преимущества освещения и канализации, чистота домов, ресторанов, обилие и дешевизна товаров. Но ведь не это профессор Оствальд собирается насаждать в завоеванном мире, тем более что, по словам немецких газет, все эти блага недоступны для народов, не наделенных германским Methodengeist'ом[26]. Дело идет, разумеется, о социально-политической организации страны. И я себя спрашиваю со всем возможным беспристрастием, чем мы до сих пор обязаны Германии в этом отношении. Англия дала миру свободу слова и свободу совести, habeas corpus[27] и право убежища, самоуправление и народное законодательство. О Франции говорить нечего: она почти полтора столетия служит лабораторией великих социально-политических опытов. Но немецкие страны в течение XVIII, XIX и XX веков, от Меттерниха до Бисмарка, от герцога Брауншвейгского до Вильгельма II, были храмом реакции, где распутные весталки беспрестанно гасили огонь, который цивилизованные люди считают священным. Милитаризм, национализм, шовинизм, гакатизм, антисемитизм, — все эти измы если не были созданы в Германии, то непременно расцветали в ней особенно пышным блеском («unrention étrangère, fabrication allemande»[28], как написано на стрелах немецких авиаторов). В частности, и новейшая история России знает ряд дат, которые долго еще будут вызывать благодарное воспоминание о Потсдаме: две последние относятся к 1881 и к 1905 годам. В русском языке слова «конституция» и «парламент» имеют французский или латинский корень; из немецкого же языка заимствованы штраф, тюрьма (Turm), цейхгауз, вахмистр, гауптвахта, шпитцрутены, полицеймейстер.

Писатель. Германская цивилизация, с некоторых пор завоевывающая мир почти во всех областях проявления человеческой деятельности, естественно, обладает свойствами могущественной цивилизации — parvenue. У нее нет аристократической самоуверенности английской культуры, нет того утонченного charme, того аромата очарования, которым окружена старинная французская цивилизация, на мой взгляд величайшая, во всяком случае наиболее тонкая из всех когда-либо существовавших. Общее место, усматривающее основную черту немецкой жизни в грубой практичности, в сущности близко

к истине, — как большая часть общих мест.

Химик. Эта черта проявляется в любой мелочи. Во французских общественных местах запрещение курить выражается в форме следующей надписи: «On est prie de ne pas fumer»[29]. Мягко, любезно, учтиво. В Германии пишут: «Nicht rauchen» или: «Rauchen verboten»[30]. «Грубовато, зато практично: вместо семи слов два, что составляет чувствительную экономию картона и фарфора.

Писатель. У нас пишут: «Курить строго воспрещается» или: «Курить строжайше воспрещается». Надпись выходит длиннее французской и грубее немецкой. Зато, благодаря нашей конституции, за двугривенный вы можете курить хотя бы в пороховом погребе.

Химик. Черта, особенно характерная для германской психологии, это сочетание страсти с практичностью, Макса Пикколомини с ловким коммивояжером. Вертер, самый сантиментальный из немцев, писал другу восторженные письма о Лотте и одновременно закусывал бутербродом с ветчиной. Ленин, далеко не самый сантиментальный из русских, не мог, когда был влюблен в Кити, проглотить куска калача. Француз ел бы бутерброд, но не счел бы, вероятно, нужным письменно оповещать об этом своего друга. «Национальная психология познается из мелочей», — говорит специалист по национальном психологии.

Писатель. Вероятно, поэтому она недорого стоит. Впрочем, указанная вами черта, по-видимому, составляет одну из бесспорных особенностей германского народа, скажу даже, одну из тайн его всевозможных успехов. Это нс мешает немцам, по старой привычке 30-х годов и из любви к романам Шпильгагена, гордиться званием людей голубого неба. Так, самая достойная, но и самая скучная в мире страна имеет смелость называть себя «веселой Англией», — «merri England». Так, наша родина, где творятся нигде, кажется, невиданные и неслыханные ужасы, носит кличку «святой Руси»... Что касается немецкой политической организации, то она, естественно, отражает те же черты грубоватого порядка, удобной ясности и некоторой примитивности, которые свойственны повседневной жизни Германии. К сказанному вами можно добавить, что и сами немцы не всегда разделяли мнение проф. Оствальда о преимуществе германской социально-политической формы. Берне, Гейне, Руге, Вейтлинг, Гервег, Маркс, Энгельс, Бернштейн, Либкнехт провели значительную часть жизни в странах гнилого индивидуализма — по причинам, хорошо известным проф. Оствальду. Много ли французов и англичан переселялось в Германию, чтобы

наслаждаться благами высшей организационной культуры?

Химик. Какие уж там французы и англичане. Заметьте, даже по отношению к нам, русским, немцы всегда являлись элементом глубоко реакционным. В настоящее время, по известным вам причинам, порядочному человеку как-то неловко обличать внутреннего немца. Но все же я не могу забыть зловещую роль, сыгранную в нашей истории русскими деятелями немецкого происхождения, от Бирона до Плеве, от Клейнмихеля до Ренненкампфа. Я вспоминаю, что в декабрьские дни 1905 года главная работа по репрессиям была поручена Риманам и Минам. Я вспоминаю и то, что в декабрьские дни 1825 года русские командиры корпусов были замещены немцами. Восстание Черниговского полка, поднятое С.И. Муравьевым-Апостолом, было подавлено силами генерала барона Гейсмара...

Писатель. Вы и правы, и нет. Судя о людях по фамилии, вы подбираете эти фамилии пристрастно. Говоря о декабристах, вы могли бы, например, вспомнить, как звали их главного вождя. Рядом с Биронами и Плеве у нас были, с одной стороны, Аракчеевы и Дурново, а с другой — Арнгольды, Фигнеры, Ашенбреннеры, Шмидты. В связи с этим — любопытное сопоставление. Фамилии тевтонских воителей: ген. Кусманек, ген. Потиорек, ген. Пухало, ген. Бюлов, ген. Белов, ген. Шметтов (немецкие фамилии на -ов, по словам этнографов, свидетельствуют о славянском происхождении), ген. Франсуа, адм. Сушон, граф де Сегюр, граф Кинский, граф Разумовский, князь Лихновский. Фамилии воителей славянских: ген. Эверт, адм. Эссен, ген. Шварц, ген. Плеве, адм. Эбергардт, ген. Ренненкампф, ген. фон дер Ропп, ген. Рауш фон Траубенберг и т. д. Ваша химия еще не научилась искусству дозировать человеческую кровь по национальности. Иначе я спросил бы вас, сколько немецкой крови текло, например, в жилах Пушкина, внука Христины фон Шеберг, Герцена, Михайловского — сыновей немок, и т. д. «Имя — звук и дым», — говорит Фауст (обратите, кстати, внимание на фамилию героя немецкой национальной поэмы: Faust значит кулак — вот они, швабы)... Интересно, что идейные антиподы Марксов и Либкнехтов плохо разделяют восторженную веру профессора Оствальда в провиденциальную функцию Германии: tu regere imperio populos Germane memento[31]. По крайней мере, князь Бюлов прямо заявляет, что немцы не наделены даром социально-политического строительства... Но это не мешает Оствальду проповедовать «свободный союз государств с Германией во главе». Эвфемизм недурен.

Химик. Он значит, разумеется, «всемирная империя

Гогенцоллернов».

Писатель. Да, конечно, трудно допустить, чтобы Вильгельм II, вернувшись «im Siegeskranz»{32} в Берлин, после триумфального шествия по Лондону, Парижу и Москве, немедленно пригласил союз монистов для переустройства Европы на новых началах. Едва ли можно рассчитывать и на то, что в результате победоносной для Германии войны династия Гогенцоллернов заменится республикой или династией Оствальдов.

Химик. Всемирный союз государств с одним монархом во главе...

Писатель. Мысль старая и безумная как мир.

Химик. Александр Македонский пробовал создать мировую империю, не удалось, — диадохи перессорились; Юлий Цезарь пробовал, опять не удалось, — умер на Св. Елене. Как хватает смелости повторять такую попытку? Именно в этой грандиозности замысла заключается тот престиж, которым окружена в настоящее время личность германского императора.

Писатель. Самым трезвым людям трудно нацело «абстрагировать» человека от его общественного удельного веса. В «Аметистовом перстне» Анатоля Франса выведен воинственный майор Rara, который на каждом шагу неизвестно о ком повторяет: «Ils entendront parler de moi, ces cocos là!»{33}, «Il faut que j'en crève un!»{34} и т. д. и т. д. Майор Rara — комический персонаж. Предположите, однако, что в его бесконтрольном распоряжении десять миллионов солдат и самая грозная военная машина в мире, — комический элемент сильно ослабевает. Но признавать за Rara на этом основании талант или даже гений — все равно что определять в пять верст рост человека, стоящего на Монблане. Я прочел по случаю войны все четыре тома речей императора Вильгельма и, узнав из них только то, что он убежденный монархист (это можно было предвидеть), очень сожалею о потерянном времени. Мое общее впечатление: какой незаменимый передовик для «Вечерней газеты» гибнет в этом человеке. И какой прекрасный эпиграф мог бы быть взят к собранию его сочинений из толстовского «Воскресения»: «Генерал занимал такое видное первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи». А ведь действительно принимали — и, если военное счастье вывезет, будут принимать и дальше, в силу свойственного людям культа успеха. Уже и до войны имелся целый ряд подробнейших биографий Вильгельма II, комментирующих каждое его слово. Я их не читал, верный мудрому правилу Лихтенберга: «Если жизнеописание короля не было сожжено на костре, то его можно и не читать» — «Wenn eine Geschichte eines Königs nicht verbrannt

worden ist, so mag ich sie nicht lesen». Но факт не подлежит сомнению: написано о германском императоре, наверное, в сто раз больше, чем хотя бы о Лихтенберге. По этой черточке будущий историк сумел бы восстановить нашу эпоху, «как Кювье восстановил скелет мамонта по одному позвонку»... Странная, однако, судьба Гогенцоллернов. Вильгельм I отправился покорять мир на 75-м году жизни. Вильгельму II тоже, слава Богу, скоро седьмой десяток. Я не требую от потсдамского властелина, восприявшего в пеленках акушерки, вместе с божественным правом, мистическую способность усвоения скрытой от нас воли Бога, я не требую от него, чтобы в своем понимании счастья он подымался выше земного уровня. Я не лезу к Вильгельму II с моральными догматами Сократа, не показываю августейшему мудрецу вход в Диогенову бочку. Но я нахожу, что ему слишком поздно вздумалось поиграть в войну. «В ваши годы, милостивый государь, Наполеон давно умер», — сказал Флоке генералу Буланже; это язвительное замечание вызвало дружный смех в парламенте: в самом деле, несколько смешон человек, который на шестом десятке лет еще желает «найти свой Тулон»... Тем не менее лишние шансы на успех у Вильгельма II есть. Первый из них — кронпринц. Александр и Цезарь не оставили вовсе детей, у Наполеона родился сын, когда всемирная империя была почти готова. Но на место Вильгельма II уже запасен ничем не худший Вильгельм III. Гогенцоллерны чадолюбивы и чадообильны; человечество может быть спокойно: оно обеспечено всемирными императорами на много времени вперед. Если верить немецкому мыслителю, всякое историческое явление имеет место дважды: один раз как трагедия, другой раз как фарс. Явлению мировой империи предстоит, по Оствальду, другая участь. Оно трагедией было трижды, а фарсом — с кронпринцами в заглавной роли — будет, по-видимому, десятки и сотни раз: фарс Вильгельм третий, фарс Вильгельм тридцатый, фарс Вильгельм трехсотый... Не будучи оптимистом, я все-таки думаю, что оптимист Оствальд переоценивает нелепость исторического хода вещей. Можно многого ждать от человеческой глупости, но не следует ожидать от нее слишком многого.

Химик. Досадно, однако, что Оствальд не нарисовал более подробно картины светлого будущего Европы; было бы очень любопытно точно узнать, как именно немцы станут насаждать в завоеванном мире блага высшей организационной культуры. Теперь, положим, германский солдат держит в одной руке томик Гете, а в другой спринцовку для горящего керосина. Но ведь от необходимости употребления спринцовки у него «сердце обливается кровью», как телеграфировал шутник Вильгельм

президенту Вильсону после сожжения Лувена. Следовательно, для того, чтобы немецкое сердце не изошло кровью окончательно, необходимо после войны тотчас разбить спринцовку и остаться при одном томике Гете, — не может же проф. Оствальд отстать в либерализме от императора Вильгельма? Однако разбить спринцовку опять-таки нельзя, ибо французы и англичане, не понимающие своего блага, упорно не хотят воспринять высшую организационную культуру и предпочитают коснеть в своем поганом индивидуализме. Как же быть? Повторяю, жаль, очень жаль, что проф. Оствальд, который так много занимался психологией, не нарисовал подробнее картины будущего насаждения высшей потсдамской культуры среди феллахов Парижа и Лондона.

Писатель. Вы ломитесь в открытую дверь. Гораздо любопытнее совершенная ненужность рассуждений Оствальда.

Химик. Итак, к какой же категории вы его относите?

Писатель. Я отношу его ж категории растерявшихся людей из породы неисправимых оптимистов. Эта порода последние годы свирепствует в стране Шопенгауэра (вот . кстати, кто наверное не подписал бы воззвания). Как оптимист, проф. Оствальд может сравниться с Вильгельмом II: он верит в счастливую развязку каждого акта исторической трагикомедии так же твердо, как германский император. Конечно, этот веселенький финал представляется обоим в совершенно различном цвете. Вильгельм II — реакционер, набожный лютеранин и националист; проф. Оствальд — либерал, свободный мыслитель и космополит. Вильгельм II ждет войны посрамления внешних и внутренних врагов; проф. Оствальд — перехода всего человечества к немецкой, то есть высшей организации культуры. И оба, разумеется, ждут желанного результата от побед германских генералов. Разница между ними в том, что в страшном крушении 1914 г. первый сыграл роль машиниста, а второй — роль товарного груза. В один злосчастный день с балкона берлинского дворца прозвучала воинственная речь императора, заиграл сигнальный рожок в десяти тысячах немецких казарм, забили в бубны газетные звонари, — и куда девался энергетический императив проф. Оствальда? Жизнь пошла не туда, куда он ее приглашал; ее погнали совсем в другое место. История еще раз повернула назад, назло всем своим теоретикам. В таких случаях мыслителю nella Citta dolente{35} остается только одно: посыпать себе голову пеплом (по крайней мере, фигурально). Но автор «Философии ценностей» не может с этим помириться. Насилуя разум и факты, он присоединяется к бравурному оркестру своей страны; более того, едет самостоятельно гастролировать в

Швецию и там дает такой концерт, что даже профессиональный барабанщик, Теодор Вольф, счел, говорят, нужным охладить на страницах «Berliner Tageblatt'a»{36} пылающие страсти профессора... Впрочем, Оствальд составляет исключение среди авторов воззвания. Внушительное ядро там образуют юркие люди. Эти всегда и во всем стоят на стороне своего правительства или своей улицы (что чаще всего одно и то же). К чести немецкой мысли, юрких людей оказалось довольно много среди лиц, подписавших манифест.

Химик. Отчего к чести, неисправимый парадоксалист?

Писатель. Здесь нет никакого парадокса. Мне совершенно понятно, почему Вильгельм II является идолом прусского феодального дворянства: он сам плоть от его плоти, кровь от его крови. Я легко объясняю себе популярность германского императора в среде духовной; таких благочестивых речей не произносил, наверное, ни Людовик Святой, ни Людовик Благочестивый. Я могу понять и то, что исключительно бодрый оптимизм, свойственный Вильгельму II, нравится торгово-промышленной Германии: во главе огромного процветающего предприятия, как Deutschland G. m. b. H., недальновидным акционерам, разумеется, приятно видеть столь жизнерадостного и самоуверенного директора-распорядителя (у всех знаменитых банкротов был именно такой темперамент). Наконец, чрезвычайная популярность императора среди немок тоже совершенно в порядке вещей: всякая немка занимается кухней, тряпками, ходит в церковь и следит за детьми, и когда преподанная с высоты престола теория четырех К говорит ей, что этим она выполняет некий святой долг и приобретает право на вечную признательность отечества, то, разумеется, немка не может не чувствовать благодарной симпатии к автору указанной теории. Но если какой-нибудь Вундт, изучивший mit heissem Bemühn{37} все, что доступно человеческому уму, подвергший анализу тысячи философских систем, в результате искренне приходит к культу Вильгельма II и убежденно говорит: das ist der Weisheit leitzter Schluss{38}, то это явление вряд ли может внушить особенно радостные чувства. И потому я утешаю себя надеждой, что, по крайней мере, некоторые из германских ученых более или менее сознательно «нажимают на истину» — мягкое и знаменитое выражение. Но, может быть, я и ошибаюсь, бесчисленные идеологические упражнения наших дней именно тем любопытны, что порою весьма трудно обнаружить, где в них начинается коварство и где кончается чистосердечие. Приходится искать критерий в личности авторов; в данном же случае и этот критерий надежен. Массе юрких людей соответствует серая масса

гениев.

Химик. «Серые гении»? Это что-то новое.

Писатель. Не пугайтесь. Вы-то должны были видеть на своем веку достаточно знаменитых ученых, чтобы относиться к ним без суеверного преклонения студента-первокурсника. Впрочем, многие из вас сохраняют этот священный трепет до седых волос. Покойный Сеченов в своих воспоминаниях отзывается о Германе Гельмгольце в таком тоне, в каком индусский брамин может говорить о боге Вишну. А между тем Гельмгольц, который, конечно, подписал бы манифест 93-х, лучший образец серой гениальности. Его гигантский ум точно скользил по дуге, — по длинной дуге огромного радиуса, неспособной, однако, сомкнуться в полный круг. Этот величайший естествоиспытатель был наивный консерватор, узкий пруссак и ограниченный монархист. Да вдобавок придворный ученый. Знаете ли вы, что это такое? Услышав о близости Гельмгольца к берлинскому двору, Сеченов спросил своего коллегу Людвига, что может интересовать в великом ученом военного человека, Вильгельма! «Император находит наслаждение в процессе гельмгольцевского мышления», — ответил Людвиг. На самом деле роль знаменитого физика при дворе заключалась в том, что время от времени Гельмгольц являлся в покои монарха и излагал свои мысли по разным научным вопросам. Вильгельм I слушал и, разумеется, ничего не понимал. В царствование нынешнего императора эти дружественные отношения сохранились, — с той разницей, что мысли по разным научным вопросам высказывал уже Вильгельм II, а слушал и ничего не понимал Гельмгольц. В этом и заключается весь Genuss{39}, о котором нежным голосом говорил Сеченову Людвиг. С императорской точки зрения желательность подобных сеансов Genuss'а, разумеется, если они не следуют друг за другом слишком часто, более или менее понятна. Это и есть тот царский путь к науке, существование которого отрицал древний мудрец. Иначе это еще называется «расширением кругозора коронованного вождя Германии», «непосредственным общением с целебным источником знания» и т. д. Немцам это очень нравится. Они убеждены, что Гельмгольцу есть о чем говорить с Вильгельмом и что из этих разговоров для обоих проистекает большая польза. Ведь Пифодор, сын Исолохов, и Каллий, сын Каллиадов, сделались знаменитыми мудрецами, заплатив Зенону по сто мин. Одним словом, очень легко понять, для чего Вильгельмы приглашают к себе Гельмгольцев. Несколько менее понятно, для чего Гельмгольцы ходят к Вильгельмам. Мизантроп может, правда, сказать, что и в этом нет ничего непостижимого: в свое время император пожаловал Гельмгольцу

прусское дворянство, или, вернее, как писал «Кладдерадач», пожаловал Гельмгольца прусскому дворянству. Но стоит ли ради ста невещественных мин разыгрывать роль, в сущности довольно близкую к должности королевского шута, — об этом я судить не берусь. Большинство немецких ученых, по-видимому, склоняется к мысли, что стоит. Впрочем, было бы странно, если бы это было иначе: современное государство имеет превосходно налаженные мастерские для выделывания почтительных профессоров. В особенности Германская империя. У нее ведь есть две драгоценности, внушающие нам такую зависть: primo[40], хваленая немецкая школа; та самая, которая, как известно, в 1866 г. победила австрийскую армию (а несколько раньше, следовало бы добавить, германскую революцию). Secundo[41], хваленая немецкая академическая свобода.

Химик. Она-то здесь при чем?

Писатель. К востоку от Рейна академическая свобода имеет разумные пределы, колеблющиеся в зависимости от рода науки: профессорам ботаники и геодезии предоставляется совершенная свобода мысли и слова; на кафедры философии не допускаются лишь отъявленные атеисты (без налета Deus sive natura[42]; в области социально-экономических знаний сделано ограничение для социалистов (не употребляющих румяна катедер-социализма); и, наконец, от преподавания истории устранены неисправимые либералы (не прибегающие к черно-желтой пудре национал-либерализма). Всех остальных государство охотно оплачивает небольшими деньгами и обилием почетных званий. Из 93-х авторов манифеста 12 имеют чин превосходительства, который, кстати сказать, все двенадцать не преминули отметить в своей подписи, очевидно, с тем, чтобы сильнее подействовать на воображение «цивилизованного мира». Суммируйте эту ограничительно-подкупательную, глубоко развращающую деятельность власти за много десятилетий, подумайте, что государство стало откупщиком народном мысли, поймите, что в манифесте 93-х мы пожали один из плодов такого откупа, — и вы со мной согласитесь, что прав был, хоть отчасти, тот немецкий писатель, который сказал: «Профессор — вот национальная болезнь Германии...» Впрочем, нет, вы со мной не согласитесь: я и забыл, ведь вы сами — «ординарный».

Химик. Я напомню вам, что воззвание 93-х подписали не только профессора, но и писатели, художники, музыканты.

Писатель. Лиц, не состоящих на государственной службе, среди авторов манифеста едва ли наберется 10 процентов. Тон во всяком случае давали не они.

Химик. Это голословно. С гораздо большим правом я могу вас

попрекнуть ролью, которую сыграли в подготовке нынешней бойни иные господа писатели. В любимом зрелище испанского народа так называемые бандериллосы при помощи каленых стрел и красного платка доводят быка да бешенства. Выполнив свою задачу, они грациозно исчезают за решетку, уступая место тореадору. Благодарную и благородную роль бандериллосов в международных бойнях выполняют некоторые из ваших собратьев по перу. Если они не подписали манифеста, то исключительно потому, что их никто к этому не приглашал: какое значение могла бы иметь для «цивилизованного мира» подпись графа Ревентлова или Максимилиана Гардена?

Писатель. Братством бандериллосов печати я никогда особенно не дорожил. Не отрицаю, что лавры органов желтой прессы иногда не дают спать органам менее желтым: pudet non esse impudentem{43}. Но, в общем, подавляющая масса бандериллосов относится к той же категории лиц, так или иначе получающих деньги от казны. Закройте секретную кассу и вы подивитесь понижению воинственного азарта: pas d'argent, pas de suisses{44}. Я чувствую, впрочем, некоторое сострадание к этим господам. Старушка Шехерезада должна была каждый вечер рассказывать волшебную историю своему господину под страхом немедленной смертной казни. Официальные и официозные публицисты должны каждое утро выдумывать для своих читателей 1001-ю арабскую сказку под страхом немедленной голодной смерти. Ибо, как говорит чеховская Анфиса, «от хорошей жизни не заиграешь»... Я нимало не желаю вводить в наш разговор профессиональную точку зрения, но все же позвольте преподнести вам под конец самого лучшего профессора: это Вернер Зомбарт, автор произведения «Герои и торгаши».

Химик. Да он, кажется, не подписал воззвания?

Писатель. Не подписал и не мог подписать. Авторы воззвания, в сущности, робкие рутинеры. Перед святыней истины, добра и красоты пылает лампада германского идеализма; перед лампадой благоговейно склонили свои седые головы девяносто три автора воззвания. По досадной случайности, от лампады зажглась Лувенская библиотека и сгорела с книгами, рукописями и библиотекарем. Девяносто три сердца облились кровью. Но что поделаешь, если такова горестная судьба? Старикам и в голову не пришло изменить свою благоговейную позу. Всем достаточно ясно, что они и не изменят ее, невзирая ни на какие случайности. Они будут подписывать что угодно, но не иначе, как во имя общечеловеческой солидарности, истины, добра, красоты, братства и высших интересов цивилизации, во имя «наследия

Канта, Гете и Бетховена». Зомбарт же погасил плевком ту лампаду, перед которой благоговейно склонились его ученые коллеги. Разница между ним и авторами манифеста 93-х огромна. Начать с того, что те написали воззвание, обращенное к культурному миру (оно так и называется: Aufruf an die Kulturwelt). Зомбарт, разумеется, ни к какому культурному миру не обращается: «Нам, немцам, нужны разве лишь иудеи древности и античные греки, больше никто». У авторов манифеста болит душа при мысли о том, что немецкие солдаты сожгли половину Лувена. Зомбарта, должно быть, огорчает, что они не сожгли и другой половины, ибо Лувен есть порождение культуры торгашей. Авторы манифеста говорят о «высшем достоянии человечества». Людей, говорящих таким языком, Зомбарт отправляет «к чертям, вместе с 3/4 наших интеллигентов». Авторы манифеста видят в германском милитаризме только защитника немецкой культуры («Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst von Erdboden getilgt»[45]. Для Зомбарта он сам есть немецкая культура, он даже больше ее: немецкая культура — Веймар, немецкий милитаризм, по словам Зомбарта, — «Потсдам и Веймар в их высшем сочетании». Не пять, а пять с плюсом. Однако любопытная подробность: над созданием идеологии германизма потрудились главным образом иностранцы или люди не чистой немецкой крови. Философский апофеоз его изобрел француз Гобино; англичанин Стюарт Чемберлен дал этому апофеозу бессмысленно-утрированную форму; чех (или получех) Трейчке обосновал его исторически; швед Арндт воспел германскую идею в стихах; еврей Лотар Бухер был долголетним бухгалтером на ее службе; датчанин Мольтке подтвердил ее высшим аргументом кулака. Я не хочу сказать, что коренные немцы совершенно не способны изобрести подобную мудрость. Но все же странно и забавно, что торгаши были главными идеологами. Что думает об этом Вернер Зомбарт?.. «С внутренним отвращением и негодованием, с брезгливостью, восстал немецкий дух против идей XVIII столетия». Как характерна эта ненависть к «веку» который должен быть помещен в Пантеон». По словам Ренана, XVIII век продолжается по сию пору. Вернее было бы сказать, что его еще не было. Но обычно восемнадцатый век отрицают во имя семнадцатого или даже тринадцатого. Автор «Героев и торгашей» составляет исключение. Что для Зомбарта средневековье с его универсальным католицизмом, с его латинской речью, с преобладанием духовного меча? Я не знаю, каково нынешнее отношение профессора к религии. Переменив аксиомы, он, вероятно, обрекает христианскую веру (кажется, он рожден в лютеранстве)

на роль старой почтенной прислуги в той изолированной казарме, какой он желал бы видеть будущую Германию. Может быть, он не прочь и обобрать прислугу в пользу хозяина, воздав Кесарево Кесарю и Божье тоже Кесарю: когда в доме не хватает денег, первым делом перестают платить прислуге. В военное время колокола переливаются на пушки и, по воле истории, в нынешней Германии Вильгельма и Гинденбурга, пожалуй, заиграет под новую инструментовку революционная мелодия сороковых годов:

Reisst die Kreuze aus der Erden,
Alle sollen Schwerter werden...{46}

Кстати, я не прочь бы выяснить, как вы сами решаете проблему взаимоотношений креста и меча?

Химик. Я думаю, что не могут угаснуть истины, зажегшиеся тихим и вечным светом на берегах Тивериады и в келье голландского стекольщика, у стен мертвого Port Royal'я и в старом саду Ясной Поляны.

Писатель. Отчего не могут? Большинство истин, подобно радиоактивным элементам, испускает свет лишь в течение определенного времени. Для Анри Пуанкаре идея Коперника была гипотезой, столь же условной, как средневековая доктрина неподвижности земли. Гениальный ученый думал, что вопрос о соотношении Земли и Солнца неверно поставлен классической астрономией. Отсюда можно сделать малоутешительный вывод, что Галилей подвергся пытке и Бруно взошел на костер из-за неверно поставленной проблемы! Но если так обстоит дело с истинами небесной механики, то где черпаете вы уверенность в вечной силе построений земной морали?

Химик. Достаточно ясно, что, как только кончится война, все мы, победители и побежденные, вновь потянемся к тем же вечным догмам. «Злобою сердце питаться устало, много в ней правды, да радости мало».

Писатель. Сердцу, как желудку, нужна разнообразная пища, но злобою оно может питаться очень долго.

Химик. Рискуя показаться вам смешным, я утверждаю, — не делая, впрочем, отсюда практических выводов, — что даже война, в особенности ее мелкие эпизоды, засвидетельствовала торжество той морали, которая предписывает прощать согрешившему брату не до семи, а до седмижды семидесяти раз.

Писатель. Что делать с братом, согрешившим 491 раз? Вы мне, — признаюсь, несколько неожиданно, — напомнили московских толстовцев, один из которых на суде изъяснялся в любви к «брату обвинителю».

Химик. Заметьте, что толстовцы были окружены атмосферой

всеобщего сочувствия и в обществе, и в народной массе, и даже в среде военных судей.

Писатель. Я тоже был рад мягкому приговору суда. Однако если бы 170 миллионов русских людей прониклись взглядами симпатичных подсудимых, брат Вильгельм пировал бы теперь в Кремле. Как вы выйдете из этой «антиномии эмоционального и интеллектуального»?

Химик. Я готов оправдать искреннего толстовца «интеллектуально» ...

Писатель. А я нет: «Lui qui voit tout en Dieu n'y voit pas quil est foi»[{47}]. В связи с этой антиномией и с упорным нежеланием воюющих держав удовольствоваться благожелательным нейтралитетом Бога, мне приходит на память следующее. Как вы знаете, истинное местонахождение могилы Христа не установлено археологической наукой. Видение этого места явилось императрице Елене, матери Константина Великого, во время ее путешествия к Святым местам, и произведенные раскопки действительно обнаружили в указанном ею месте остатки крестной казни. Здесь- то, в результате видения и находки, был воздвигнут Константином храм Гроба Господня. Однако арабско-еврейская традиция, а с ней целый ряд археологов, переносит Голгофу в другое место — у Дамасских ворот; и кто хоть раз видел поражающие воображение зловещие скалы этой окраины Иерусалима, тот скорее допустит, что именно здесь свершилась казнь, которая сыграла столь необычайную роль в таинственных судьбах людей. Но если верна арабско-еврейская традиция, если прав английский генерал Гордон, разыскавший у Дамасских ворот вторую, «подлинную» могилу Христа, то кто же, кто похоронен на месте, поныне привлекающем ежегодно сотни тысяч пилигримов? С незапамятных времен человечество распинает на крестах две категории «ближних»: самых лучших и самых худших. Но так как первых неизмеримо меньше, то естественно возникает вывод, который в моих глазах символизирует судьбы государственного христианства, пятнадцативековое историческое недоразумение, связанное с именем Константина. И даже не имея христианской веры, можно почувствовать легкий холод при мысли, что человечество уже полторы тысячи лет с трепетом молится на могиле, где, по всей вероятности, погребены кости удалого молодца большой дороги.

Химик. Дело Константина Великого оправдано самим фактом своей пятнадцативековой жизни.

Писатель. Я и не думаю, чтобы этому делу грозила от войны серьезная опасность. Христианство не обанкротилось в

настоящую войну. Оно временно признано несуществующим. По христианской морали, как по многим другим ценностям, объявлен мораторий. Но раздраженный крик умирающего Вольтера аббату Готье, заговорившему с ним о Христе: «Monsieur, ne me parlez pas de cet homme!»{48} — остается всецело на ответственности французского просветителя... Когда стала заново отстраиваться разрушенная землетрясением Мессина уцелевшие жители первым делом воздвигли крепость — для безопасности и собор — из благодарности. Этот недавний прецедент красноречиво засвидетельствовал прочность креста и меча даже при самой неблагоприятной «конъюнктуре». Но в теории проблема их сожительства почти всегда разрешается неопределенно... В сущности, Вернер Зомбарт, этот ученый профессор, который так старательно себя нататуировал и гордо подвесил к поясу скальп Эдуарда Грея (совсем «Длинный Язык, вождь бреславльцев»), — единственный вполне последовательный милитарист нашего времени.

Химик. Почему?

Писатель. Война есть зло. Война есть добро. Вот две аксиомы, между которыми нужно сделать выбор. Казалось бы, выбор нетрудный: что уж тут хорошего, если цивилизованные люди режут друг друга и совершают всевозможные преступления, прикрывая их звучными латинскими именами, как репрессия, реквизиция, контрибуция. Однако мы знаем, что с тех пор, как мир стоит, и та, и другая аксиома принимались огромным большинством людей с весьма существенными ограничениями, которые сильно сблизили сторонников самых различных взглядов в их отношении к войне. Абсолютным пацифистом был (вернее, хотел быть) разве только Л.Н. Толстой. Громадное же большинство культурных людей нашего времени не стоит на точке зрения абсолютного пацифизма. Многие — и отнюдь не одни только глупцы и мерзавцы — отстоят даже очень далеко от этой точки зрения. Дэвид Юм утверждал, что вечная война превращает людей в диких зверей, а вечный мир — во вьючных скотов. Великий английский мыслитель, правда, не объяснил, сколько именно времени люди могут жить в мире, не превращаясь в скотов, и сколько им нужно воевать для того, чтобы превратиться в зверей. От 1870 г. по 1914 г. Западная Европа не знала ни одной серьезной войны, однако признаков повального отупения в ней не было замечено. Но возможно, что это именно и был максимум продолжительности европейского миролюбия. По-видимому, в войне есть бесконечная притягательная сила. О ней можно сказать то, что Октав Мирбо говорит о здании брюссельского Palais de Justice: «C’est tellement

laid que ça en devient beau»[49]. Казалось бы, нейтральные страны легче всего могут извлечь пользу из гигантского урока, который дается им бесплатно (вернее, за большую плату в их карман). Однако мы видим, что и в Италии, и в Швеции, и в Румынии, и в Португалии крепнет военная партия. Точно зачарованные, люди смотрят в пасть дракона... Как бы то ни было, все мы до сих пор полагали, что в войне дорог главным образом ее результат: мир. Ценою крови — своей или чаще чужой — мы готовы были приобретать известные культурные блага: независимость, национальное единство, осуществление исторического права, выход к морю или что-нибудь еще. Мы думали, что не мир для войны, а война для мира. Вернер Зомбарт думает как раз наоборот. Для него мир есть неестественный промежуток времени между двумя войнам, нечто вроде быстро проходящей неприятной болезни. Он абсолютный милитарист, как Толстой был абсолютный пацифист, как мы все — середка на половинке. Зомбарт — Лобачевский германской политической мысли. Он переменил ее аксиомы... «Homo homini lupus», — говорит, не бледнея, Гоббс (сын великодушного Альбиона). «Homo homini deus», — говорит, не краснея, Фейербах (коварный тевтон). Разумеется, оба преувеличивают: человек человеку не волк и не бог, а чужой. Но заметьте, оба философа говорят в изъявительном наклонении. Зомбарт, кажется, первый вставил в волчью формулу наклонение повелительное: да будет человек волком человеку! Либеральный оппонент автора «Героев и торгашей» Конрад, по-видимому, очень серьезно доказывает ему, что Англия дала миру Шекспира и что Шекспир великий писатель. Собственно говоря, опровергать теорию Зомбарта доводами обычной логики бесполезно: если из слов человека выходит, что в Берлине на Leipzigerstrasse в лавках торгуют исключительно герои, а из Англии добровольцами отправились в окопы два миллиона торгашей, то его можно смело оставить в покое. Надо помнить, что в философии Зомбарта другие аксиомы. Конечно, первая мысль, возникающая при знакомстве с ней, заключается в том, что бреславльский профессор сошел с ума. Такая догадка, действительно, высказывалась в печати. Зомбарт может сказать себе в утешение, что, когда Лобачевский выступил впервые со своей «Воображаемой геометрией», она была встречена точно так же: известный математик, академик М. В. Остроградский, прямо рекомендовал свезти ее автора в дом умалишенных. Людям очень трудно освоиться с мыслью, что можно произвольно менять аксиомы. «Практическая ценность истины измеряется той верой, которую она внушает», говорит Гюстав Лебон. Практическая ценность лжи — тоже. Какие аксиомы восторжествуют у нас в

1917 году, я не знаю. Но пока дух сивого мерина властно парит над страницами европейской прессы. Недаром о подвигах Feldrauen и чудо-богатырей пишут совершенно тем же стилем, что о скаковой доблести благородного сына Айриш-Лада и Медузы. Но, может быть, вы первый еще разжалуете «святую скотину» в скотину просто.

Химик. Дело не в стиле. Военная риторика как средство, ведущее к цели, тоже служит прогрессу.

Писатель. Прогрессу — в какую сторону? «Человечество идет назад, и мы в первых рядах». Я видел когда-то матч знаменитых боксеров. Два гигантских негра ожесточенно колотили друг друга, и всякий раз, как один из них получал особо тяжелый удар, он, выплевывая выбитые зубы из окровавленного рта, тщательно, хотя и непохоже, изображал на лице довольную усмешку. Нельзя было не отдать должного энергии и стойкости гладиаторов. Неизмеримо противнее была галерка, возбуждавшая борцов улюлюканьем и площадной бранью... Надо ли вводить элемент клоунады в явление мировой трагедии? Я от всей души желаю полного поражения Германии, — ее победа была бы величайшей катастрофой цивилизации, — и я говорю, побольше тяжелых снарядов, но поменьше бесстыдной болтовни. Можно не стремиться к тому, чтобы стать «выше свалки» (как Ромен Роллан), но обязательно ли становиться ниже ее? Между тем нам, штатским людям, выпала, по-видимому, именно роль галерки. Как объективно, как хладнокровно обсуждаем мы происходящие события! Какие выдумываем тонкие аргументы и как кстати их приводим: «А, вы объявили нам войну! Ну, так знайте: Ньютон стащил дифференциальное исчисление у Лейбница!» Из-за моря несется телеграфный ответ флегматического британца: «Сам дурак! Лейбниц стащил дифференциальное исчисление у Ньютона». — «Английские канальи! От французской болезни не вылечитесь без немецкого лекарства!» — «А у вас скоро животики подведет от голода!» В Берлине спорят, можно ли играть на сцене Шекспира, и решают, что можно, так как он ругал Францию. У нас для исполнения сонат Бетховена пожаловали последнему голландскую натурализацию. Немцы, чтобы доконать французов, изгнали из своего языка слово coiffeur{50}. Французы, чтобы доконать немцев, обогатили свой язык словом boche{51}. Два бурных потока залили Европу 1914 года: волна героизма и волна глупости. Автор «Сида» и автор «Бувара и Пекюше», оба нашли бы в нынешних событиях неисчерпаемый источник тем.

Химик. Безнадежный социал-пессимист, вы высказываете весьма мрачные мысли, вовсе не соответствующие тому уроку, который Anno Domini{52} 1917-го послала нам жизнь.

Очистительные молнии великой грозы, ее громовые удары скуют свободу и право народов. В конечном счете злом будет порождено добро. Улетят черные вороны, Кассандры прикусят язык, — и послышится победное пение человечества, смело идущего вперед к яркой заветной цели. Так над трупом разочарованного датского принца, торжествуя, проходит победоносный боец Фортинбрас.

Писатель. Велик был бы для меня соблазн ответить. вам словами французского писателя: «Les pessimistes tombent continuelement dans l'erreur. Mais par trop d'optimisme encore»{53}. Однако так далеко я не иду; я если и пессимист, то уж во всяком случае далеко не безнадежный. Мне только кажется, что слишком дорого человечество платит за изучение азбуки, слишком долго ей учится, слишком скоро ее забывает. Не скрою, — я несколько умиляюсь при виде того баланса, который «в конечном счете» порождающего зла и порожденного добра неизменно очищает сальдо — разумеется, в пользу последнего. Беда хотя бы в том, что, под очистительными молниями великой грозы, для многих из нас конечный счет уже наступил и притом несколько преждевременно. Для очень многих других он тоже скоро наступит при еще менее соблазнительных условиях. В самом же конечном счете земля, по-видимому, будет раздавлена в столкновении с какой-то планетой. Так по крайней мере утверждают астрономы и, вероятно, именно это предвидел принц Гамлет, когда навстречу торжествующему невежде Фортинбрасу бросал свое знаменитое: «The rest is silence»{54}.

Химик. С удовольствием констатирую, что элементы мировой скорби вами перенесены из социально-политической области в сферу космическую. Перед этой не очень новой шуткой я почтительно и с некоторой скукой умолкаю. Она никак не помешает мне радоваться близящемуся делу разумного вечного мира освобожденных демократий Европы.

Писатель. «Радуйся, бане, омывающая совесть, радуйся, всечудное всех к Богу примирение». Не вы первый, не вы и последний: с давних пор радостные люди лечат нас радостною вестью. Лечат по рецепту мольеровского врача: «Maladus dût il crevare»{55}.

Химик. Какую же весть несете нам вы? Чем кончится нынешняя трагедия?

Писатель. Кто знает? Уж слишком благоприятна обстановка для проявлений той силы, которую Стендаль называл «le derin imprévu»{56}. На троне теперь сидит его величество случай, определяющий и исход войны, от которого и зависит все остальное... Ошибка вершителей судьбы Европы, затеявших эту безумную войну, заключается в том, что они считают свою власть

основанной на каком-то незыблемом принципе, будь это божественное право, парламентиризм, комбинация божественного права с парламентаризмом или что-нибудь еще. На самом же деле власть их покоится главным образом на силе принуждения и на инстинктивной тяге к порядку со стороны широких народных масс. Мировая война, с ее неслыханным размахом, медленно подтачивает вторую из этих опор, вследствие чего седок стал переносить свою тяжесть на первую. Что, если рано или поздно подломится и первая опора? Мы видим перед собою страшные кольца змея великой войны; стоглавый змей мировой пугачевщины может скоро вползти на арену. Какое из чудовищ победит? Какой ужасный дракон родится в результате поединка? Социалистический строй, говорят наши глубокомысленные пораженцы. Дракон всемирного одичания, склонен думать я.

Химик. Итак, вы «не приемлете» войны? Беда в том, что война, как смерть, не спрашивает, угодно ли вам ее принять.

Писатель. Кто ж вам сказал, что я ее «не приемлю»? За долгий век я, слава Богу, сколотил маленький капитал «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Я думаю, правда, что в день заключения мира нам останется повторить слова старинного мудреца: «Ich möchte was darum geben, genau zu wissen, für wen eigentlich die Thaten gethan worden sind, von deren man öffentlich sagt, sie waren für das Vaterland gethan worden»[{57}]. Мне прекрасно известно, что Кай смертен и что его природе свойственно делать всевозможные глупости и гадости. Но по утрам я открываю газету, вижу в ней наглядное доказательство смертности Кая (иногда целых дивизий Каев), узнаю о том, что Кай натворил за 24 часа короткой человеческой жизни, без того достаточно полной зла, — и меня давит тяжелый кошмар исполинского дома умалишенных. Я приемлю и сумасшедший дом, но порою позволяю себе роскошь называть его сумасшедшим домом. Видно, сильны в человеке нелогичное стремление к логике и экстравагантная идея добра.

Химик. В этой войне, которую приемлет Анатоль Франс и которой не приемлет Сережа Попов, разум сохранил свои державные права... Или вы думаете, что мы все — моральные банкроты?

Писатель. Нет, моральные пролетарии. Война пустила нас по миру и лучше нам не составлять своего баланса. Публичная отчетность к тому же теперь отменена на все время военного положения.

Химик. Я думаю, напротив, мы станем духовно богаче. Неужели, по-вашему, философская мысль ничего не вынесет из грозных годин истории?

Писатель. Напротив, многое. Но... вы помните, у Шекспира есть сцена, неподражаемая по силе таящейся и ней иронии. Когда великие несчастья рушатся на голову Ромео, его пробует утешить старый Лоренцо. «Вам остается, — говорит он, — adversity's sweet milk — Philosophi» — «сладкое молоко несчастья — философия». На это веронский юноша отвечает не совсем вежливо: «Повесьте вашу философию, если она не может отдать мне Джульетты».

Химик. Ромео — это вы?

Писатель. Нет, я говорю о вас. Мои Джульетты давным-давно умерли и не встать им из заколоченных гробов. Но вы, вы, седовласый юноша, — кто воскресит вам вашу Джульетту, когда наконец вы увидите, что ее больше нет? Кто вернет вам веру в силу права, в прочность культуры, в общность исканий, в творческую власть добра, в неуклонность прогресса, в идеалы Белинского, которого вы читали гимназистом, в заветы Грановского, которого вы вовсе не читали? И, главное, кто вернет, кто даст эту веру вашим нынешним ученикам, юношам без седых волос, когда и пред ними предстанет обнаженное тело мертвой Джульетты? Вдруг они позволят себе маленькую логическую экстраполяцию: наши идейные вожди совершали ежедневно в течение нескольких лет некоторый нажим на истину во имя любви к родине и к своему народу. Почему же не допустить, что они нажимают на истину и в мирное время во имя любви к своему классу, к своей партии, к своему кружку? Amica veritas, sed magis amicus Plato{58}. И я думаю, что потеря на десятилетия веры в печатное слово{59} будет не менее тяжким последствием войны, чем неизбежные спутники последней — миллионы инвалидов, массы разоренных тружеников, сотни бесчестных богачей, колоссальный рост преступности и победоносное шествие сифилиса.

Химик. В конце концов для «моих учеников», как бы они молоды ни были, вряд ли будет откровением тот факт, что людям свойственно защищать свои интересы. Я все больше убеждаюсь в чисто поверхностных свойствах вашего великого скептицизма. Брюзжащий зритель-рецензент в первом ряду партера, кто виноват вам, что сидите вы так близко к рампе и что в ваших руках кривой бинокль? Пожалуйте на авансцену или ступайте прочь из зала... В сущности, вы принадлежите к породе людей, которых французы называют «les idéalistes manqués»{60}. Рудин, прельщенный философией Пигасова, истинно говорю вам, — надо подождать беспристрастного приговора истории.

Писатель. Извольте, подождем. Ничего другого нам к тому же и не остается. Боюсь только, что история вынесет несколько беспристрастных приговоров. Как говорит один остроумный

писатель: «L’histoire est écrite par des gens impartiaux. Ils sont en déssaccord, parce qu’il y a des gens impartiaux dans tous les partis»{61}.

Колесница джагернатха (*из записной книжки писателя*)

Tutti non sono al ospedale.

(Не все сумасшедшие находятся в больнице.)

В грозные дни празднеств Кришну роковой поступью катафалка проходит по полям Пури тяжелая колесница Джагернатха.

Кто может, идет за ней вслед. Кто хочет, бросается под колеса. Осторожные бегут прочь без оглядки.

Но мудрость старой страны не предсказывает маршрута и не ищет на ней возницы.

«Que tout rentre dans le chaos et que de ce chaos sorte un monde nouveau et régénéré»{62}.

Европейское человечество вот уж скоро пятый год упорно трудится над осуществлением первой части этой формулы Бабефа. На вторую надежды мало.

Процесс, начавшийся в 1914 г., целен и неделим. Психология войны и революции одна и та же. В идеологии их очень много общего. «Налево кругом значит то же самое, что и направо кругом, только совершенно наоборот». Всякий раз, когда я слышу, как с презрением и ненавистью бросаются слова «буржуй» или «товарищ», я вспоминаю «les sales boches»{63} и «Gott, strafe England»{64}. По-видимому, тупость, одно из самых мощных проявлений человеческой энергии, следует великому термодинамическому закону; общее количество ее в мире постоянно, она только меняет свою форму.

Европейская жизнь на ближайшие десятилетия определена тем фактом, что в цивилизованнейших странах мира будут гулять на свободе миллионы людей, которым разрядить ружье в «ближнего» ровно ничего не стоит. По несколько простодушному выражению Шиллера, «der physische Mensch ist real, der moralische aber nur problematisch»: «физический человек действителен, моральный же только проблематичен». События нашего времени показывают, что он с каждым днем становится все проблематичнее. В ночь торжества «последней войны» от руки

спасающего Францию полоумного милитариста гибнет «изменник Herr Jaurès». В ночь торжества «последней революции» («c'est la lutte finale») распропагандированные хулиганы во имя социализма убивают «буржуев-кровопийц» Кокошкина и Шингарева.

Цельный единый процесс перехода потенциального зверства в активное продолжается. Хуже всего то, что прекратиться теперь он не может и не должен. Великая трагедия в том, что мы, «оборонцы», мы, люди культуры, обречены работать во славу мирового Ленина.

Две роковые даты русской истории: день, когда началась проклятая война, и день, когда она прекратилась.

Сенатор Никитин в «Воскресении» Л. Н. Толстого аккуратно записывал в дневнике все свои разговоры с чиновниками первых двух классов. «Он был, — говорит иронически Толстой, — вполне искренне убежден, что записи эти составляют очень важный исторический материал». События 1914 г., однако, показывают, что Толстой напрасно иронизировал над сенатором Никитиным. Последний был совершенно прав. Историк никогда не узнает всей правды о возникновении мировой войны, если не изучит самым тщательным образом всевозможные дневники, мемуары, «Erinnerungen», «Rückblicke», «Tagebuch»{65} и другие литературные произведения всевозможных Никитиных. Для того чтобы выяснить, почему погибло много миллионов людей и истреблено на сотни миллиардов ценностей, созданных народным трудом, нам необходимо будет знать, что сказали 18 июля Сухомлинову Николай II, Вильгельму Бетман-Гольвег, фон Ягову фон Чиршкий и т. д. Как бы мы ни старались смотреть в «корень вещей», мы все же не обойдемся без дневников и «Rückblicke». События 1914 г. показали историческую роль личности, — в особенности личности скверной. Каким только ничтожествам не было дано расписаться ярко-кровавыми буквами в книге судеб человечества...

Что касается второй роковой даты, связанной с вечнопамятным Брестом, то по ее истории самым ценным документом будет, вероятно, не дневник, а гроссбух германского канцлера.

Никто ничего не знал, никто ничего не понимал, никто ничего не предвидел. Меньше всего знали, кажется, господа дипломаты. Они играли в жмурки на краю бездонной пропасти. В одно прекрасное утро выяснилось, что Европе грозит война, к полудню она оказалась «неминуемой», а к вечеру дипломаты посторонились с очаровательной улыбкой и из-за спин их загремели пушки. Вопросов господам дипломатам, разумеется, не

задавали. Их резолюции были приняты как откровение с горы Синайской.

Остальное произошло по церемониалу. Рассудок подействовал на сердце, сердце подействовало на рассудок. Расчет породил воодушевление, воодушевление отняло разум. Комедианты стали «кликушами», симуляция обратилась в нервный припадок. В неделю были наведены мосты через всевозможные рубиконы. Один Маркс никогда не объяснит, почему возникла война; нужно обратиться еще к психиатрам.

Марат, «nanti de l'office du fou a la cour du peuple»{66}, требовал в свое время лишь двести тысяч голов. И то по его скромному счету было отпущено современниками не более одного процента. В наши дни, не требуя аргументов, не спрашивая отчета, пошло на смерть десять миллионов людей. В подобных случаях народным массам предоставляется только проявление энтузиазма: «Their's not to reason why, their's but to do and die» — «их дело не рассуждать, как да почему, а исполнять и умереть», — говорит английский поэт, не замечая, по-видимому, зловещей иронии своих слов.

Я видел когда-то в одном из немецких юмористических журналов следующую забавную картинку: на уроке солдатской словесности прусский офицер задает глуповатому рекруту, очевидно только что приведенному из деревни, вопрос учебной программы: «Майер, отчего каждый немец обязан умереть в любую минуту по первому слову кайзера?» Майер озадаченно чешет голову, а затем с сконфуженным видом возвращает тот же вопрос своему наставнику: «В самом деле, Herr Leutnant, отчего-таки каждый немец обязан умереть в любую минуту по первому слову кайзера?» Вспоминая эту картинку, я невольно думаю, что величайший позор Германии XX века не потопление «Лузитании», не калишские зверства и не сожжение Лувена, но тот факт, что в июле 1914 г. на 66 миллионов населения «страны мыслителей» не оказалось ни одного рекрута Майера.

На протяжении двух столетий два человека подняли вооруженное восстание против могущественной страны; оба обратились за помощью к ее «исконному врагу», который, впрочем, успел перемениться за время между двумя восстаниями. Первому из этих революционеров поставили ряд памятников; второго повесили. В честь первого слагали оды величайшие поэты мира; второго забрасывали грязью до и после его смерти. Историк, верящий в имманентную справедливость, вероятно, признает, что геройское восстание Джорджа Вашингтона, в отличие от безумной попытки Роджера Кэзмента, шло по линии движения общечеловеческого прогресса. Историк, не верящий в

имманентную справедливость, со вздохом повторит, что в политике успех дает возможность отличить подвиг от преступления... А преступление от «ошибки». Последнее верно также и для казнящих. Ибо часто (хотя и не всегда) оправдываются слова старого Мальбранша: «Dans les lieux ou l'on brûle les sorsiers on en trouve un grand nombre» — «колдунов всего больше там, где их жгут».

Арман Каррель с оружием в руках сражался за испанскую свободу против армий французского короля. Лорд Байрон считал великим несчастьем английскую победу при Ватерлоо. Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. На смену этого романтического пораженчества пришло акционерное общество «Парвусъ и К°». Что сказать о подобном прогрессе за столетие, утвердившее идею патриотизма?

Циммервальд и Кинталь не были, впрочем, чужды своеобразной романтики монашеского ордена. Но вне «конъюнктуры», «проекции» и «перспективы» ценность идеологии любого ордена не поддается никакому учету. Как рассматривать Циммервальдский манифест без проекции на Брестский трактат? Обе стороны приняли «определенное обязательство действовать с такой силой, чтобы движение в пользу мира заставило наши правительства прекратить эту бойню». Страну культурную и просвещенную это обязательство пока не привело ни к чему. Страну невежественную и нигилистическую оно привело к рабству. Прекрасная речь Ледебура в рейхстаге все же недостаточная компенсация за потерю трети России.

И потом — как рассматривать Циммервальдский манифест вне проекции на личность его авторов? Имена Гримма, Радека и Ганецкого говорят сами за себя. Если в воззвании германских ученых подписи были лучше всего, то в манифесте циммервальдистов все лучше подписей.

«Последняя война». «Война войне»... Мир бесконечно устал от побед и поражений, от дипломатических успехов и дипломатических неудач, от Цорндорфов и Кунерсдорфов, от стратегов и интриганов. Генерал Бернгарди, doctor mirabilis{67} воинствующего пангерманизма, писал недавно статьи, под которыми охотно бы подписалась покойная Берта Сутнер. Но это ничего не значит. Юнкера отдохнут, подрастут их младшие братья, и все начнется, быть может, сначала. А потому, как сказал в своей знаменитой речи, «вызвавшей вмешательство Италии в войну», старый pinse- sans-rire{68} Габриель д'Аннунцио: «Счастливы милосердные, — им предстоит унимать кровь».

«Это могло случиться только в России». Кто знает? Не будем валить слишком много на русское невежество и некультурность.

После «Бесов» Достоевского полезно перечесть «Землю» и «Разгром» Золя. Умение читать и писать не делает человека культурным. Знание четырех правил арифметики не убивает в нем зверя. Когда от пятилетия неслыханной бойни порвутся крепкие нервы западноевропейского человека, когда возвещенная большевиками «социальная революция» вместо земного рая принесет ужасы всеобщего одичания, от самоубийственных русофобских припадков наших дней многие будут, вероятно, лечиться холодными душами мизантропии. «Шопенгауэра, брат, надо читать, Шопенгауэра», — советовал Тургенев Герцену в период несравненно более легкого кризиса в жизни Европы. Того Шопенгауэра, который, умирая, оставил большую часть своего состояния солдатам, восстановившим «порядок» в 1848 г. А меньшую часть — своей собаке.

И в самом деле, в наши дни это чтение несколько успокаивает. Почти так, как успокаивает астрономия.

Ум Шопенгауэра — кладбище, но это величайшее Campo Santo в мире. Кладбище без крестов, без надписей утешения...

Вопрос общий: что хорошего может выйти из событий, представляющих собой прямое следствие такого явления, как мировая война?

Вопрос частный: к чему хорошему может привести движение, которым руководят гг. Парвус, Радек, Зиновьев, Троцкий, Ганецкий, Муравьев и т. д.?

Покойный Антон Менгер, очень ученый, очень благородный и очень наивный человек, мечтал о том, как в социалистическом государстве будет издаваться газета, которая поставит себе задачей следить за частной жизнью вождей общества, выставляя их «к позорному столбу» при каждом неверном шаге, при каждом сомнительном поступке. Я себя спрашиваю: что, если в социалистическом государстве, в которое мы вступаем, по словам Ленина, будет, действительно, осуществлена идея Менгера: где мы возьмем столько позорных столбов?

Тем не менее второй вопрос имеет, вообще говоря, лишь ограниченное значение. В общей форме он вряд ли может быть поставлен.

«Чистое дело требует чистых рук», — сказал мне один политический деятель, справедливо гордящийся белоснежностью своей ризы, в ответ на предложение привлечь к важному делу знаменитого N—N, конечно, далеко не святой, но, наверное, хороший музыкант...

Каждому свое: одним людям позировать для революционных икон, другим — делать революцию. Вот чего требует, по-видимому, жизнь. Надо бы помнить и исторические примеры:

Минин был взяточник; Пожарский при Борисе Годунове занимался писанием доносов. Это не помешало им, однако, спасти от гибели Россию.

Об одной политической организации: Senatores boni viri, senatus enim mala bestia{69}.

Есть поговорки, представляющие собой явное издевательство над историей. Например, лежачего не бьют.

Большевики очень возмущены тем, что А.Ф. Керенский скрылся от «суда».

Иван Грозный писал князю Андрею Курбскому: «Се бо есть воля Господня — еже, благое творяще, пострадати. И аще праведен еси и благочестив, почто не изволил еси от мене, строптивого владыки, страдати и венец жизни носити?»

Царь Иван Васильевич здесь явно давал волю своему зловещему юмористическому дарованию. Но вожди современной опричнины, которым для полноты исторического сходства не мешало б украсить себя песьими головами, по-видимому, говорят совершенно серьезно. Участь Духонина, Коровиченки, Шингарева, Кокошкина, тысяч других не смущает их:

«Избиенные же и заточенные вси прияша по своим винностем».

Когда под звуки барабанов Сантерра в корзину парижского палача упала голова Людовика XVI, кто мог предположить, что через 20 лет на том же самом месте будут служить траурную очистительную мессу верные слуги нового короля Франции и Наварры? И тем более — кто мог подумать, что в числе этих верных слуг, благоговейно проливающих слезы над местом успокоения «венценосного мученика», окажется немало людей, громогласно требовавших с трибуны Конвента головы «преступного Капета». В состав Революционного Комитета III года входили тринадцать будущих графов и один будущий князь...

Гильотина произвела отбор достойнейших. За грехи французской монархии поплатился добрейший из королей Франции; за грехи революции — лучшие из революционеров. Карл X и Фуше остались невредимы.

Царь Николай II был, за неделю до своего падения, совершенно уверен в беспредельной преданности самодержавному строю всего русского народа. В этом смысле у нас бесспорно существует преемственность, если не власти, то по крайней мере ее традиций. Год тому назад Россия всенародно нарушила свою присягу царю, — и, разумеется, прекрасно сделала. Это не помешало Временному правительству первым делом привести армию к новой присяге, на которую, кажется, сильно рассчитывал добрый князь Львов. Теперь красноармейцы

присягают по-новому на верность советской власти. Сильный этим и сочувствием «трудящихся масс всего мира», Ленин бодро шагает по пути к взыскуемому граду. Но волей судьбы взыскуемый град иногда носит название Тобольск, и в году великой, мировой, последней, коммунистической революции один из месяцев называется термидор.

Современные события несомненно являют полное торжество идеи забитой и загнанной буржуазии: ее победители буржуазнее, чем она сама.

Ленин прав: жизнь, взбаламученная «социалистической революцией», принесет в деревню «кодекс новой правды». Только это кодекс, вероятно, будет — с небольшими поправками — Десятый Том Свода Законов. Он освятит сложившееся положение вещей, закроет на многое глаза и назовет благоприобретенным награбленное.

Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос: для чего нужен Ленин? Для торжества идеи частной собственности. Если верить К. Пруткову, то «и терпентин на что-нибудь полезен». Но такое назначение большевистского терпентина представляет, несомненно, одну из самых злых шуток истории.

Протопопов компрометировал реакцию и подготовлял революцию. Ленин компрометирует революцию и подготовляет реакцию. Прежде мы могли утешаться формулой, завещанной России Пушкиным: «чем хуже, тем лучше». Теперь, к несчастью, чем хуже, тем хуже.

Все, что делается, есть самая очевидная и чистейшая импровизация. Русская революция, как дочь родную мать, напоминает русскую войну. Ленин законный наследник Николая Николаевича. Поход на капиталистический строй, по замыслу и подготовке, стоит похода на Карпаты. Где будут при отступлении «заранее подготовленные позиции»?

В Парижском Люксембургском музее есть прекрасная скульптура Тюргона: слепой ведет парализованного. Московитская Совнаркомия должна была бы украсить свой герб изображением этой статуи.

Писатель, смело выдающий бронзовые векселя: Д.С. Мережковский. Года два тому назад он торжественно обещал: «Будет радость». Его пьесу под этим названием мы видали, но радости все еще ждем. Теперь мы услышали лекцию, — она наделала много шума: «Россия будет». Конечно, будет. Но какая? За свой пожар мы платим крупную страховую премию: в международной практике обычаи гражданского обихода нередко соблюдаются навыворот.

Фридрих Штейн, «создатель новой Пруссии», один из виднейших актеров европейской политической сцены, на склоне своих дней писал: «Das Resultat meiner Lebenserfahrung ist die Nichtigkeit des menschlichen Wissens und Treibens, besonders des politischen»{70}.

Эти слова крупного государственного деятеля мне вспомнились в разговоре с одним из наших бывших министров. Он, напротив, приписывал своему политическому Wissen{71} и, в особенности, Treiben{72} едва ли не всемирное значение. И видит Бог, что ему весьма далеко до Штейна. «Это человек или нарочно?» — спрашивает в известном анекдоте девочка, увидевшая писателя Апухтина, который отличался необычайной толщиной. Здесь на устах вертелся такой же вопрос: министр или нарочно?

Он пишет теперь свои воспоминания. Судя по его словам, оправдывает себя, винит других, шумит, жалуется и грозит.

Так, впрочем, ему и подобает.

> Le bruit est pour le fat, la plainte pour le sot,
> l'honnête homme se retire sans prononcer un mot{73}.

К парадоксам современного милитаризма. Наполеон утверждал, что командовать армией можно только до 40 лет. Ни один коммерсант не пригласил бы к себе на службу управляющего или бухгалтера в возрасте современных генералиссимусов. Говорят, военный опыт приобретается долгими годами. Где же его приобретают? Девяносто процентов нынешних полководцев до 1914 года ни разу не видали настоящего поля сражения. Для Аннибала, Цезаря, Тюренна, Наполеона, Нея, Даву война была ремеслом в настоящем смысле этого слова: они провели в походах большую часть своей жизни. Но Аннибалы и Цезари германского генерального штаба могли вынести опыт высшего командования разве только из недавней войны с герреро. Тем не менее они превосходно справляются со своей задачей. Может быть, это свидетельствует о том, что индивидуальность полководцев имеет в настоящее время довольно ограниченное значение, — как для хода военных действий, так и для психики народных масс. Гинденбург только минутное воплощение потребности культа героев. Вчера Гинденбургом был Маккензен, позавчера Клукк, Тирпитц или кто-то еще.

Жорес в одной из самых вдохновенных своих речей, призывая Францию к разоружению, воскликнул: «В крайнем случае мы погибнем, но наша гибель послужит делу освобождения

человечества». Во всякой другой стране, будь это Германия, Англия или Соединенные Штаты, политическая карьера человека, который позволил бы себе такую фразу, была б навеки разбита. Французская аудитория ответила трибуну бешеным взрывом аплодисментов.

Но когда началась война, этот удивительный народ, неожиданно для своих врагов и даже для самого себя, стал самым воинственным народом в мире. В эпикурейцах современных Афин проснулся дух крестовых рыцарей. Сердце человека полно контрастов. Пацифистская пропаганда иногда влечет за собой непредвиденные результаты. С известным правом можно утверждать: «Si vis bellum para pacem»{74}.

В наше время, по очень несчастному для народов обыкновению, те, что объявляют войну, не принимают в ней участия; а те, что сражаются и гибнут, не участвуют в объявлении войны. Густав-Адольф и Карл XII были последние монархи, павшие на поле брани.

У войны есть особая этика, не без труда усваиваемая чувством справедливости штатского человека. Когда простой солдат прокрадывается во вражеский стан и, показывая чудеса хладнокровия и отваги, исполняет то, к чему его обязывают солдатский долг и дисциплина, его, как шпиона, немедленно вешают. Но если в плен, в виде исключения, попадется император, проливший море крови, то враги с почтительными поклонами и с непокрытой головой просят его величество пожаловать в отведенный для него роскошный замок. Для помазанников Божиих девиз Борджиа «Aut Caesar, aut nihil»{75} лишь весьма редко имеет буквальный смысл: в трудные минуты иные из них, как Фридрих «Великий», поговаривают о самоубийстве, но никогда не кончают с собой — по религиозным побуждениям. Сорвавшийся помазанник проводит остаток жизни, занимаясь на досуге спортом, составлением мемуаров и придумыванием красивых восклицаний (они ведь не говорят, а восклицают), вроде «все потеряно, кроме чести», — восклицаний, которыми немедленно украшается поэтическая легенда коронованного страдальца: участь деспота, потерявшего опасную игрушку, больше волнует нелепый романтизм человеческой природы, чем хотя бы судьба солдата, которого носят в мешке, так как ему оторвало ядром руки и ноги. «Vae caecis dicentibus, vae caecis sequentibus»{76}, — грозил когда-то св. Августин. В особенности, конечно, sequentibus.

Впрочем, статистик Молинари давно доказывал, что ремесло убийцы безопаснее ремесла рудокопа.

В смерти Бисмарка было что-то символическое. Вот как ее

описывает его биограф, Welschinger: «В субботу 30 июля 1898 года, около трех часов, началась агония. В это время буря разразилась на Северном море, и бешеный ветер врывался в окна замка и стонал между соснами огромного леса. В одиннадцать часов вечера князь поднялся на постели, поднес руки к лицу, точно защищаясь от какого-то страшного видения, и скончался...»

Как известно, Бисмарк в отставке испытывал «угрызения совести». Одну из его покаянных мыслей поместил даже Л. Н. Толстой в своем «Круге чтения»: «Тяжело у меня на душе. Во всю свою долгую жизнь никого не сделал я счастливым, ни своих друзей, ни семьи, ни даже самого себя. Много, много наделал я зла... Я был виновником трех больших войн. Из-за меня погибло более 800 тысяч людей на полях сражений; их теперь оплакивают матери, братья, сестры, вдовы... И все это стоит между мною и Богом...»

Большого значения покаянные настроения канцлера, конечно, не имеют. Поклонники Бисмарка даже рады увидеть на своем герое, кроме всех прусских орденов, еще венец христианского величия. Но, в связи со страничкой из Welschinger'а, это нас, современников каннибальского торжества, должно тем не менее несколько утешать. Особенно если вспомнить, что и дела Бисмарков не так уж прочны — sub specie durationis{77}. Германское могущество рано или поздно будет там, где покоится величие Камбиза, Августа, Филиппа II, Николая I.

> Hoc equidem occasus Troiae tristesque ruinas
> Solabar fatis contraria fata rependens{78}.

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. Но каким прекрасным предлогом была для нас всех свобода». Так говорил в соответствующий момент истории большой знаток дела Наполеон I. Герой 18 брюмера, быть может, и заблуждался, насмехаясь над «среднеумными людьми», которым, как-никак, принадлежал и принадлежит мир. В революции, да и в других больших человеческих делах, должно уметь отделять результаты от мотивов, трагедию от актеров. Рушатся государства и троны, под свист разгневанной толпы сходят со сцены вчерашние кумиры, в муках что-то умирает, говорят даже, будто в муках что-то рождается, — как же забыть в вихре подобных событий о существовании «исторической перспективы»? К сожалению, ее одинаково извращает и свое, и чужое 18 брюмера.

18 брюмера перед нами. Чужое и скверное. Что с того, что наши Наполеоны обыкновенно начинают с Ватерлоо? Очень

нетрудно «абстрагировать» 18 брюмера от бутафории пирамид и Маренго, от Аркольского моста и Яффского лазарета. Шпага победителя или штык дезертира, ботфорты со шпорами или немазанные сапоги, преторианский порядок или красногвардейский хаос, не все ли, в конце концов, равно с точки зрения принципа? Я смотрю на политический календарь и ясно читаю: 19 брюмера.

«Timeo homines unius libri — боюсь людей одной книги», — говорил Фома Аквинский. Гораздо страшнее люди одной газеты. Особенно, если газета эта «Правда».

Определяющая черта большевистской идеологии — примитивность. Г. Ленин несомненно очень выдающийся человек, но он примитивен, как протопоп Аввакум, которого сильно напоминает и первобытностью своего полемического темперамента: «Ни ритор, ни философ, дидаскальства и логофетства не искусен, простец человек и зело исполнен неведения». Напоминает он протопопа и своей ненавистью к противнику, глубоким презрением к чужой мысли (недаром он написал когда-то прелестную книжку против всех философов), — черта гения в одном случае, черта варвара в ста других. В полемическом обиходе г. Ленина весь словарь аввакумовских ругательств, разумеется несколько модернизированный. Но «буржуазная сволочь», «презренные дурачки» и «звери капитализма» значат, вероятно, то же самое, что «алгмей», «косая собака» или «антихристов шиш».

В частности, своих противников из лагеря социалистов г. Ленин всегда ненавидел больше, чем служителей самодержавного строя.

Надо отдать справедливость лидеру большевиков: он не церемонится и со своей братией, когда последняя осмеливается выходить из-под ферулы учителя. Неподражаема его гневная статья о г. Зиновьеве, испытавшем мучительные минуты колебания перед вооруженным выступлением 25 октября. Совершенно так же честил Аввакум ученика, который как-то пошел против его воли: «Не помышляй себе того, дурак, еже от Бога тебе, кроме покаяния, помиловану быти... Да приидет на тя месть Каинова, и Исавова, и Саулова, да пожжет тя огнь рко содомлян, аще не зазришь души своей треокаянной! Кайся, трехглавый змий, кайся, собака дура!» Аввакумов ученик, как и г. Зиновьев, действительно, немедленно покаялся.

Протопоп царя Алексея Михайловича тоже не жаловал буржуазию: «Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленые куры: вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной... Плюнул бы ему в рожу-то и в брюхо-то толстое

пнул бы ногою». Весьма вероятно, что Аввакум стоял бы теперь за додушение буржуазии и за отправку капиталистов «на шесть месяцев в рудники».

Зато в отношении свободы слова протопоп был, при всей своей ненависти к латынникам, много либеральнее г. Ленина. «Чудо, — говорил он о никонианах, — как-то в познание не хотят прийти? Огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые-то апостолы научили так — не знаю... Те учители явны, яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают: по вере своей и дела творят таковы же». Золотые мысли.

Свобода слова, разумеется, лишь «наименьшее зло». Есть два рода писателей: одни сеют «разумное, доброе, вечное», а другие поставляют для этой цели навоз. Но так как подразделение писателей по названным двум категориям всегда несколько субъективно, то в конце концов Европа додумалась до принципа свободы слова, который так плохо усваивают русские правители, начиная от Рюрика и кончая нынешним генералом Дитятиным, не закрывшим всех газет только потому, что против этого возражают печатники.

«По мнению дураков, — говорил Гейне, — для того, чтобы взять Капитолий, нужно первым делом напасть на гусей». Мнение дураков, по-видимому, совершенно разделяется Советом Народных Комиссаров. Коммунистическому унтеру Пришибееву следовало бы помнить хоть то, что не всякая стая птиц спасает от гибели Рим. Опаснейшими гусями при Капитолии русской свободы оказались вечерние газеты.

«Книга губит социальную революцию», — сказал как- то г. Ленин. По существу он, разумеется, совершенно прав: его революцию, как и его социализм, книга действительно губит. Приходится в данном случае констатировать некоторую непоследовательность: настоящее бессмертие г. Ленин обрел бы, если б во славу большевистского Корана сжег Публичную библиотеку.

«Отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей», — сказал епископ Вазон, когда Джироламо Савонарола всходил на костер. «Воинствующей, но не торжествующей», — поправил Савонарола. «Слова эти были произнесены с таким выражением, — рассказывает Виллари, — что остались в памяти навеки у тех, кто их слышал».

Флорентийский мученик был совершенно уверен в надземной правоте своей смерти: «Пусть мир теснит меня сколько хочет, пусть враги мои восстают на меня, я ничего не боюсь, как тот, который возложил всю свою надежду на Бога... Не буду надеяться на людей, а лишь на Господа, и хвалу воздам Ему перед лицом

всего народа, ибо честна перед Господом смерть преподобных Его. Если даже полки всего мира устремятся на меня, не убоится сердце мое, ибо Ты прибежище мое и Ты приведешь меня к моей цели». Это последние слова, написанные Савоноролой: затем у него была отобрана бумага. Ученик фанатика, фра Доменико, узнав, что будет сначала повешен, а только потом сожжен, умолял сжечь его живым, «чтобы он мог перенести еще более тяжкие муки ради креста Христова». «Погребите меня, — писал он монахам Сан-Доменико в Фиезоле, — в самом скромном месте, не в церкви, а у врат ее в уголке. Молитесь за меня, совершая литургию et coetera solita{79}; я же там, где надеюсь быть, стану молиться за вас. Соберите в моей келье все произведения фра Джироламо».

Эта психология более или менее чужда людям нового времени. По-видимому, 18 век сделал ее невозможной. Много легенд, связанных со смертью героев, знает Великая Французская революция или плутарховская эпопея Народной Воли, но характер этих легенд все же совершенно другой. Не такие мотивы звучали в Conciergerie{80} на прощальном ужине жирондистов, не так писали и говорили перед казнью Дантон и Демулен, Желябов и Валериан Осинский. Какая-то струна в аккорде веры, очевидно, порвалась за четыре столетия.

К фанатизму мучеников средневековья примешивался и личный интерес: вера обещала им за гробом райскую счастливую жизнь. У нынешних апостолов нет такой надежды. Их вера поэтому чище, но, с другой стороны, и слабее. Нынешние же события могут печально отразиться и на будущем гуманитарного идеализма. Четыре пережитых нами года стоят веков и было бы удивительно, если б аккорд веры не стал неизмеримо беднее после всего, что произошло. Костры погасли и, должно быть, не возродятся. Виселицы пока уцелели, но, быть может, когда-либо исчезнут, — хотя по нынешним временам это и не слишком вероятно. Будут ли, однако, появляться кандидаты на костер и виселицу? Так ли достоверно, будто психология самопожертвования неотъемлема от природы человека? Старик Монтень, правда, в свое время уверял, что нет такой глупости, ради которой homo sapiens не был бы способен сломать себе шею. Вдруг, однако, homo sapiens впредь откажется ломать себе шею даже ради самых серьезных дел?

Иное дело — ломать шею другим.

На тему: из Назарета может ли быть что доброе? Мыслителем русского старого строя считался К.П. Победоносцев, человек большого практического ума, но совершенно ничтожный компилятор реакционных теорий, умевший черпать политическую

мудрость из самых неожиданных источников. Его критика «великой лжи нашего времени», — парламентаризма и прессы («Московский сборник») — представляет собой буквальное воспроизведение «Парадоксов» Макса Нордау без малейшего указания на источник. Заимствовать для официозного издания, выходящего под фирмой обер-прокурора Св. Синода, целые страницы из произведений главы сионистов, добавить от себя к мыслям еврея приличную дозу антисемитизма и пустить парадоксы венского фельетониста в качестве руководящих наставлений для православных священников, — этот трюк был как раз во вкусе Великого Инквизитора.

Гражданин, примыкающий не то к меньшевикам-интернационалистам, не то к объединенным социал-демократам (никак не пойму, в чем разница между этими партиями), убедительно доказывал мне губительность большевистских действий для России, Европы, человечества, свободы, демократии и социализма. Я совершенно с ним соглашался.

— Какой же выход из положения при создавшейся конъюнктуре? — спросил он.

Я отвечал, как умел. Médicamenta, наверное, non sanant[{81}]. Может быть, ferrum sanat?[{82}]

— Ни в коем случае, — ужаснулся он. — Социализм погибнет, если они будут раздавлены силой.

В этом тоже была доля правды (правда, очень небольшая). Тем не менее я счел возможным напомнить объединенному меньшевику следующий эпизод из жизни Бодлера, рассказываемый Анатолем Франсом:

«Знакомый поэта, морской офицер, показывал ему однажды фигуру идола, вывезенную из диких земель Африки. Показав свою негритянскую достопримечательность, офицер непочтительно бросил ее в ящик.

— Берегитесь, — с ужасом воскликнул Бодлер. — Что, если это и есть настоящий Бог!»

Одна из любопытнейших личных драм наших дней — молчаливая трагедия П. А. Кропоткина. Думал ли апостол анархического учения, что на старости лет он увидит в родной своей стране недосягаемый идеал полного безвластия на развалинах сокрушенного государства? И думал ли он, каков будет этот идеал в передаче г. Блейхмана и в осуществлении кронштадтских матросов?

«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы.

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего

трудился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу». (Апокалипсис, гл. II, 2—6.)

Интересный человеческий документ: разговор Наполеона с Бенжаменом Констаном, рассказанный в воспоминаниях последним. Из этих двух людей один — теоретик истории и права, другой — их созидатель; один — философ, другой — тема для философа; один пишет романы, другой творит их своей жизнью. Оба внимательно всматриваются друг в друга. Наполеон чуть презирает Констана надменной мудростью все пережившего человека, обаянием своей легенды, снисхождением врожденного повелителя к либеральному юристу. Констан не без робости вглядывается в стоящее перед ним живое чудо, хочет понять душу Наполеона художественным инстинктом, старается противопоставить идее императора одну из своих идей... «Дело пятнадцати лет моей жизни погибло, — говорит Наполеон, — оно не может быть начато вновь». И в это хладнокровное замечание человека, который констатирует факт и делает из него вывод, вдруг, как искра, вскальзывает нота неукротимого кондотьера, давно утратившего представление о возможном и невозможном: «Il faudrait vingt ans et deux millions d'hommes à sacrifier»{83}. Но нет ни того, ни другого, — ни двадцатилетнего срока, ни двух миллионов жизней... Практик тотчас же берет верх над кондотьером. «Мне нужен народный энтузиазм. Народ хочет (veut ou croit vouloir{84}) свободы, — говорит Наполеон тоном человека, которого нельзя удивить никакой игрушкой, — я готов заплатить ему за одушевление конституцией, свободой слова, ответственностью министров».

«Je comprends la liberté»{85}.

Это понимание к тому же достаточно гибко: «En prenant pour prétexte le prétendu principe de l'utilité générale on peut aller ou l'on veut»{86}. Вряд ли какая политическая максима оправдывалась в истории так часто, как этот наполеоновский афоризм.

Мирабо и Жорес — два, быть может, наиболее выдающихся политических деятеля новой эпохи. В них много общего. Дар слова, ученость, разносторонность, способность к работе были свойственны обоим в необычайной мере. Оба никогда не были у власти, но оба царили над людьми. Оба погибли в роковые минуты истории, на пороге мировых крушений.

В жизни — Мирабо буйный темперамент; Бенвенуто Челлини XVIII столетия, изведавший много личных бурь, автор «Erotica Biblion», величайший и глубоко развращенный эгоист; Жорес высоконравственный человек, тихим семьянин, скромный

профессор, живший только для своего дела, для народа, для человечества. В политике — Мирабо умереннейший и аккуратнейший «кадет», почти неизменно стремившийся успокоить, примирить, согласовать, найти компромисс; Жорес неумолимый, последовательный революционер, апостол борьбы, апологет бунта...

Темперамент в политике и темперамент в жизни — вещи разные.

«Но то, что жизнью взято раз, не в силах рок отнять у нас». Увы, «взятое» жизнью рок отнимает у нас ежедневно и есть много охотников по мере сил помогать в этом деле року. Хуже всего, что отныне ничего больше нельзя валить на «русскую жизнь» и никого не будет впредь заедать среда, та среда, которая заела половину героев нашей литературы. Не проходит бесследно вековая школа деспотизма и грубости. Русский человек, грозящий своей кухарке рассчитать ее «в 24 часа», ныне гражданин «самой свободной страны в мире». Здесь року не приходится ничего и отнимать: политическая революция у нас произошла, социальная, по-видимому, производится, но психологическая, наверное, будет не скоро.

«Судьба, — говорит Людвиг Берне, — никогда не дает мат королю, не сказавши ему прежде — шах». Низверженный русский император не мог пожаловаться на невнимание со стороны Немезиды истории: в выстреле на набережной Мойки прозвучал для него последний, но далеко не первый шах.

Только ли, однако, к монархам применимо правило Берне?

В день годовщины февральской революции русское общество оглядывается назад. Проигравший шахматный игрок с сумрачным интересом разбирает потерянную партию, отыскивая роковую ошибку. Для чего? Для новой игры? Нет, он слишком устал. Разбирает просто, чтобы знать. Вероятно, для теории.

Говорят, русский человек задним умом крепок. Это было бы не так плохо, если б было верно. Задний ум по крайней мере дает некоторые гарантии для будущего. Но, кажется, поговорка преувеличивает: особых проявлений заднего ума у нас пока незаметно.

Впрочем, день национального праздника ознаменован открытием «Просветительного Общества 27 февраля». В этом обществе сошлись виднейшие деятели весеннего и летнего периода 1917 года. Горькая ирония судьбы: русская революция, начавшая с освобождения вселенной, кончила просветительным обществом. От «Воззвания к народам всего мира» мы — какою ценою — пришли к букварю.

«Несчастная русская обломовщина...» Обломов — русский, но

разве не русский Желябов? Любопытно, что прототипом «безвольного» Рудина послужил Тургеневу Бакунин, человек больших дел, оставивший прочный след не только в русской, но и в европейской жизни. Чего стоит, в смысле практического результата, одна только его формула (впрочем, заимствованная у Прудона): «Le suffrage universel est la contre — révolution»{87}, формула, выводы из которой сделали историческую карьеру матроса Железнякова.

«Les haines sociales, comme les haines religieuses, sont beaucoup plus intenses, plus profondes que les haines politiques»{88}.

Так говорил Бакунин. Верно ли это? В России большевики ставили на социальную вражду (к буржуазии), их противники на национально-политическую (к Германии). Победили большевики. На Западе пока результат обратный. Но резкие грани легко стираются жизнью. Вражда к немцам, порабощающим Россию, может приобрести социальный характер. Ненависть пролетариата к буржуазии или буржуазии к пролетариату облечется, весьма вероятно, в форму антисемитизма. Даже люди, очень довольные внешней политикой г. Троцкого, могут не простить ему того, что он распял Христа.

Гомер говорит где-то о волшебном растении лотос, отведав которого человек забывал о своей родине. В наше время лотос стал русским национальным блюдом. Но он рано или поздно приестся — и тогда улица проявит такую любовь к отечеству (в особенности к его дыму), что мы все превратимся в интернационалистов.

Поэты, как статуя Мемнона, поют тогда, когда над страною восходит солнце. У всякой революции есть свои Шенье.

Певцом «великой пролетарской зари» оказался г. Александр Блок. Почему этот подлинный поэт очутился в числе соперников г. Демьяна Бедного, может быть, не совсем понятно. Но нетрудно отыскать в таком представительстве символику, если принять во внимание юношескую свежесть и девственную чистоту таланта г. Блока.

Дикая утка «потолстела». Оказалась черной вороной прекрасная синяя птица. Ибсен и Метерлинк не нашли бы источников вдохновения в советской, коммунистической России.

Автор «Незнакомки» était tout indiqué{89}.

Звезда, павшая с неба и воплотившаяся в прекрасную незнакомку была, как известно, просто уличной женщиной.

Органически кощунственный талант мог возвести октябрьскую революцию в перл создания.

И мы имеем поэму «Двенадцать», отмеченную большим чувством ритма, выдающимся фонетическим дарованием.

Но с ужасом мы слышим в ней старое «Бри!», так угнетавшее когда-то фантазию г. Блока.

Бесчисленные «Gott mit uns»{90}, которые произносились на всех языках в течение этой беспримерно варварской войны — чаще всего людьми, непосредственно в ней не участвующими — были, разумеется, проявлениями самого подлинного кощунства. Но мы привыкли к тому, что военные гекатомбы славословятся текстами из Евангелия.

Было бы странно, если б самые отвратительные страницы революции, законное наследье войны, обошлись без подобных славословий, несколько менее для нас привычным.

Отряд красногвардейцев только что пристрелил «толстоморденькую Катьку»: она «с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла», — и при этом изменила одному из «двенадцати». Прикончив Катьку, красногвардейцы идут дальше:

> ...Так идут державным шагом —
> Позади — голодный пес,
> Впереди — с кровавым флагом,
> И за вьюгой невидим,
> И от пули невредим.
> Нежной поступью надвьюжной,
> Снежной россыпью жемчужной,
> В белом венчике из роз —
> Впереди — Исус Христос.

Цель достигнута: неожиданность образа бесспорна. О ценности его этого сказать нельзя.

«Абстрагировать» от кучки революционных хулиганов идею борьбы за социальную справедливость; «абстрагировать» от борьбы то, что роднит ее с обликом Христа, — этот философский примитив очень не дорого стоит. Он всецело на уровне понимания любого читателя «Правды».

И главное, г. Блок не выдумал все-таки ничего нового.

Так же легко было отвлечь от потопления «Лузитании» самопожертвенную деятельность моряков подводной лодки и по этому случаю вспомнить «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — что неоднократно и делалось на страницах пангерманской печати, как в прозаической, так и в стихотворной форме.

Но там все-таки Христос с подводным пиратом сближался гораздо искусней, хотя и с меньшим звуковым дарованием. Фиговые листочки, как-никак, представляют собой дань чувству приличия у читателя.

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах![91]
Вскрутился к небу снежный прах!..
Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..
Трах-тарарах! Ты будешь знать,
……..
Как с девочкой чужой гулять!..

Стих, обозначенный точками, очевидно, передает народное скифское восклицание, которое произносит, убивая Катьку, красногвардеец, шествующий в обществе Исуса Христа...

По-моему, чтобы окончательно посрамить отсталую Европу, скифский художественный и социальный радикализм требовал помещения этого восклицания целиком.

Иначе получается недостаточно философской глубины и слишком много буржуазного вкуса.

Наша революция, за полгода пришедшая от г. Родзянки к г. Ленину, прошла под девизом лондонских извозчиков «keep to the left» (держи налево). Несчастье «демагогии» (определение точного смысла этого слова связано с чрезвычайными трудностями) заключается именно в том, что на смену всякого левого демагога быстро приходит демагог еще более левый.

То же самое у нас было и в Смутное время. Самозванец обещал больше, чем Борис, Шуйский больше, чем Самозванец, Ляпунов больше, чем Шуйский. Кончилось это, как известно письмом Шереметева к Голицыну, Миша-де Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден.

Может быть, и теперь кончится буквально так же.

В первый день русской военно-революционной трагедии (20 июля 1914 года) на площади Зимнего дворца с пением преклонила колени перед царем стотысячная толпа авангарда революции — петербургских рабочих. Прелюдией к нынешней Zukunftsmusik[92] было «Боже, царя храни». Отчего и финалу не быть — в темпе presto — таким же?

Но, разумеется, и финал, в свою очередь, есть не более, как прелюдия.

При царях евреи рассматривались в России как национальность, вероисповедание, сословие и политическая партия. В 1913 году они стали еще изуверской сектой. Теперь в них видят правящую касту. Но глубоко прав был Меттерних, утверждая, что всякая страна имеет таких евреев, каких заслуживает.

Нет ничего легче, чем предсказывать то, что было. Пророков,

предсказывающих то, что будет, гораздо меньше, и они часто бывают не слишком ясны. Но в истории мирового шарлатанства и роль Пифии не принадлежит к числу самых легких.

Гипотетический ум, созданный фантазией Лапласа, охватив единой формулой движение мировых масс и крошечных атомов, мог уверенно читать в книге грядущих судеб. Возможно, что с современным Бедламом не справился бы и этот фантастический гений. В мире реальном он во всяком случае упорно не хочет воплотиться.

«Notre vertu la moins contestable, c'est d'etre clairvoyants»{93}, — говорит Морис Баррес, за всю свою жизнь ни разу ничего правильно не предвидевший. Из ста людей, которые оставили после себя след, быть может, один добродетелен в этом смысле слова. В старых книгах порою встречаешь страницы редкого проникновения и удивляющей глубины. Но фантазий, но ошибок все же неизмеримо больше.

Особенно много иллюзий порождала категория времени: ошибались не на год и даже не на столетие, — иногда на десятки столетий.

Мечта о земном рае покрыта пылью веков. Первым социалистом был, вероятно, Адам...

Нынешний строй не вечен, — это совершенно несомненно. В строе, который придет ему на смену, будут преобладать формы коллективного владения, — это весьма вероятно. Новый строй принесет людям больше материального благосостояния, — это вполне возможно. Но как он наступит и через сколько времени, — вот вопрос, многочисленные ответы на который представляют собой одну из интереснейших страниц в истории человеческого незнания.

Несколько примеров наудачу.

Когда старик Платон, называемый обыкновенно божественным, хотя это был, в сущности, очень земной философ, отправлялся в Сиракузы к мудрому тирану Дионисию, он был уверен, что, проникшись силой его доводов, просвещенный правитель Сицилии осуществит в своей земле принципы коммунистической республики и тем самым откроет новую счастливую эру бедствующему человеческому роду. Однако Дионисий Сиракузский оказался другого мнения — и Платона, как известно, постигли большие неприятности. Проданный в рабство, он спасением своим был обязан лишь дружбе киринеянина Аннихериса, который на эгинском базаре купил знаменитого мудреца за 20 мин, что, разумеется, было недорого. Печальные обстоятельства, однако, не поколебали веры Платона в близость коммунистического переворота и много лет спустя, по

смерти Дионисия Старшего, он вторично отправился в Сиракузы с тем же предложением к новому просвещенному тирану Дионисию Младшему, который принял его не лучше.

Совершенно так же, как Платон, был уверен в близости социалистического строя благочестивый доминиканский монах Томмазо Кампанелла, автор гремевшей когда-то книги «Civitas Solis»{94}. Этот калабрийский Ленин 16-го столетия организовал большой политический заговор с целью замены существовавшего в Неаполе строя коммунистической республикой посредством военного восстания. История повторяется. Картина заговора Кампанеллы до мелочей сходна с тем, что происходило в Петербурге в дни 3—5 июля 1917 г. Для осуществления плана Кампанелла предполагал напасть со своими приверженцами на страшную неаполитанскую тюрьму («Кресты» той эпохи назывались «Яйцом» — Il ovo), выпустить политических заключенных, а заодно воров и бандитов, захватить с их помощью правительственные учреждения, сжечь все бумаги (это очень характерно), а затем, расправившись с иезуитами, к которым он относился приблизительно так, как большевики к «меньшевикам и правым эс-эрам», приступить к организации общества на новых коммунистических началах. Желая обеспечить успех своему предприятию, Кампанелла, человек исключительного бескорыстия, счел возможным войти в соглашение с могущественным внешним врагом, с турецким визирем Гассаном. Восстание, однако, не удалось. Вице-король неаполитанский, граф Демос (Керенский калабрийской революции), быстро собрал войска и разбил заговорщиков. Кампанелла пытался бежать на турецкий военный корабль, но — не может же история повторяться буквально — радость спасения и реванша не была уготована несчастному монаху. Пойманный и подвергнутый тяжкой пытке, он провел в том же «Яйце» 27 лет жизни. Вера его в близость коммунистического строя, как и у Платона, не поколебалась от испытаний.

В виде исключения из общего правила несколько менее оптимистично был настроен предтеча всех утопистов, изобретатель острова «Утопии», Томас Мур. «Знаменитейший, ученейший муж, лондонский гражданин и виконт», — так аттестовал Мура его издатель, — кажется, плохо верил в прекрасное детище своей фантазии: «Я охотно признаю, — писал он в заключение своего диалога, — что в утопийском государстве много такого, чего можно было бы пожелать и нашим странам, но особенной надежды на близкое осуществление этих желаний я не имею». Впрочем, комментаторы Мура высказывают мнение, что такие мысли предназначались для отвода глаз блюстителям

порядка. Это, конечно, возможно. Так или иначе, Мур довольно основательно забыл рассказы Рафаэля Гитлодея и его критику существующего строя в тот самый день, когда стал государственным канцлером. Но, по-видимому, не забыл об этом король Генрих VIII и после нескольких попыток канцлера-коммуниста, отличавшегося благородной независимостью характера, напомнить — не о конституции острова Утопии, а о конституции острова Англии — приказал отрубить Муру голову. Таким образом, автор «Утопии», бывший канцлером при жестоком короле, что довольно редко случается с коммунистами, «в конечном счете» не избежал обычной участи апостолов будущего строя. «Всякий человек рано или поздно, но обязательно попадает на свою полочку», — любил говорить Белинский. Для Мура этой полочкой оказалась плаха.

Практический скептицизм Томаса Мура, во всяком случае, составляет исключение. Почти все другие коммунисты жили, борясь за осуществление своих идей, и умирали с твердой верой, что только несколькими днями не довелось им дожить до всеобщего, прочного, окончательного социалистического переворота. Таковы были и первые христиане, и беггарды, и вальденсы, и апостолики, и амальрикане, и табориты, и адамиты, и богемские братья, и анабаптисты, и левеллеры, и диггеры, и бабувисты, и сен-симонисты, и фурьеристы, и шекеры, и гармонисты, и бакунисты, и набатовцы, и землевольцы, и духоборы.

«Вообразите себе, — писал в 1872 г. Михаил Бакунин своим итальянским друзьям, — что во всех итальянских деревнях раздается клич: «Война дворцам, мир хижинам», как во время восстания немецких крестьян в 1520 году, или тот другой, еще более выразительный: «Земля трудящимся!» Вы думаете, много найдется в Италии крестьян, которые останутся спокойны! При этом жгите побольше официальных бумаг (опять эта поразительная боязнь бумаги!) и социальная революция будет сделана».

Бакунин был, впрочем, далеко не самым «утопическим» из русских утопистов. П.Н. Ткачеву, например, социальная революция даже не представлялась, по-видимому, сколько-нибудь трудным предприятием. Если Бакунин рассчитывал легко поднять на восстание массы русского и итальянского крестьянства, то философия «Набата» считала достаточным участие кучки энергичных революционеров. И даже самый трезвый из русских социалистов-эмигрантов той эпохи, П. Л. Лавров, в своем ответе на письмо В. А. Гольцева, более или менее определенно говорил о близости минуты, когда, одновременно в

России, Германии, Франции, Англии, Италии и Испании, вспыхнет великая и окончательная социальная революция!

«История учит тому, что она ничему не учит...» Если б это было иначе, то через два тысячелетия после Платона Шарль Фурье не обращался бы к Бонапарту на страницах своей «Теории четырех движений и общих судеб» с предложением воздвигнуть из развалин варварского строя «всеобщую гармонию коммунистического фаланстера». Если б это было иначе, то через три века после Кампанеллы г. Ленин не выступал бы с проповедью социального переворота по старому рецепту доминиканского монаха...

Но социализм прошлых веков был делом веры. Нынешний социализм покоится на фундаменте научного знания.

Да... Впрочем, Кампанелла также основывал свои проекты на твердых данных науки. Именно на показаниях астрологии, которой со страстью предавался автор «Государства Солнца».

Вера есть вера даже тогда, когда она называет себя наукой.

Карл Маркс, творец научного социализма, всю жизнь был убежден в крайней близости коммунистического строя и ровно семьдесят лет тому назад писал: «Буржуазная революция может быть только непосредственной прелюдией революции пролетарской».

В 1849 г. Маркс доказывал Лассалю, что пролетарская революция во Франции вспыхнет не позднее следующего года.

В 1850 г. он выступил с идеей перманентной революции, продолжающейся до тех пор, пока «государственная власть не будет завоевана пролетариатом и производительные силы, по крайней мере главные, не сосредоточатся н руках пролетариев».

В 1862 г. Маркс писал Кугельману: «Мы, очевидно, идем навстречу революции, в чем я, начиная с 1850 г., никогда не сомневался».

Наконец, в 1872 г. он утверждал в письме к Зорге, что «пожар разгорается во всех углах Европы».

Впрочем, у великого утописта научного социализма бывали и периоды сомнения. В каком русском лагере находился бы ныне Карл Маркс, сказать очень трудно.

Фридрих Энгельс тридцать лет тому назад высказывал взгляд, что «царское правительство этот год уж не протянет, а когда уж в России начнется — тогда ура!». Впоследствии Энгельс, как известно, приурочивал социалистический переворот к 1898 г.

Равным образом Август Бебель не раз высказывал надежду дожить до будущего строя — и был наказан судьбой, пославшей ему исключительно долгую жизнь.

Наконец, по мнению Жореса, который, впрочем, не

принадлежал к числу чистых марксистов, социальная революция должна была произойти между 1907 и 1917 годами.

Марксисты знают, что время неизменно работает для них и не может работать против них. Совершенно так же знали это социалисты первых времен христианства... Прежняя синдикалистская вера Жоржа Сореля в непогрешимость всеобщей забастовки стоит его нынешней католической веры в непогрешимость папской энциклики.

Исторический прогноз (не отдельный и случайный) невозможен. Здесь вечное — ignorabimus{95}.

День 1 Мая, день «международной солидарности трудящихся», день очередного воззвания к немецкому пролетариату... С давних пор революционеры Германии поступали вопреки завету Маркса: в парламенте грозили уличными баррикадами, а на улице вели себя парламентарно.

Если бы в день объявления войны правительством Вильгельма II вожди немецкой социал-демократии провозгласили вооруженное восстание, их бы прокляли одни, благословили другие (первым делом их бы, разумеется, повесили, — это само собой)... Не отказ от восстания, не голосование 4 августа будет вменено им в вину, — им, поправшим права рассудка вместе с «правом бунта», им, принявшим не только всю кровь войны, но и всю ложь ее идеологии.

Кольб и Гейне поют гимны императору, Грюнвальд и Гейниш в умилении от Гинденбурга. Ersatz-социализм торжествует по всей линии. Коммунистический Манифест положен на мелодию Deutschland, Deutschland. Благодаря русской измене, смерть, быть может, смотрит в глаза противникам центральных империй. Но свой долг родине, с ростовщичьими процентами, партия Шейдемана продолжает исправно вносить на текущий счет кайзера.

Бисмарк аннексировал Эльзас-Лотарингию, Бебель протестовал против этой аннексии. Кто же был прав, — германский ли канцлер, единодушно признанный величайшим политическим деятелем эпохи, или тридцатилетний ремесленник, токарь Бебель? В 1871 г. правым был признан Бисмарк, в 1971 г. правым будет, вероятно, Бебель. Кто прав в настоящее время, это мы скоро узнаем. Но германские социал-демократы, по-видимому, склонны считать правым Бисмарка. По крайней мере они единодушно отвергли мысль о возвращении Франции аннексированных провинций.

Бебель протестовал против аннексии Эльзаса и Лотарингии, Шейдеман доказывает незыблемость германского права на эти земли. Как же было правительству Вильгельма II не

аннексировать в Бресте новых территорий, когда на смену бебелевского veto{96} менее чем через полстолетия приходит шейдемановское «быть по сему»?

Зато Ersatz-социалисты «направляют внутреннюю политику Германии». К ним «внимательно прислушивается» сам канцлер. Так в популярной у немцев детской книжке заботливый отец оказывал внимание непослушному сыну, — кстати, и тезке Шейдемана: отцу важно, «ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will...»{97}.

Логически всегда будет трудно объяснить, почему гильотинировали Тропмана, если Вильгельм II умрет спокойно на своей постели. Но исторически, в данной среде, в данное время, в этой феодальной magnum latrocinium это, по-видимому, уместно и даже необходимо. К казарменному социализму казарменная монархия составляет совершенно естественный коррелят.

В своих «Reflexions on the Revolution in France»{98} Эдмунд Бёрк доказывал, что революция погубила Францию своим неуважением к историческим традициям страны: «Вы начали плохо, так как начали с презрения ко всему, что у вас было. Вы затеяли торговлю без основного капитала. Если последние поколения в вашей стране представлялись вам лишенными блеска, вы могли пройти мимо них, обратившись к более отдаленной линии предков. Вы не должны были рассматривать французов как народ, существующий со вчерашнего дня (as a people of yesterday), как нацию, состоявшую из низкорожденных тварей до освободительного 1789 года».

Вероятно, будущий Бёрк русской революции (который не заставит себя ждать) скажет о ней то же самое. Она не связала себя с историческими традициями России. Где было их взять? У «более отдаленной линии предков»? Не только Андрей Курбский, Д. М. Голицын или Сперанский, но и Пестель, как политический деятель, «неприложим» к русской революции. Наша коммунистическая республика только полустолетием отдалена от крепостного права. У Ленина есть современники, отцы которых лично знали Аракчеева.

В идейном отношении наши 1917—1918 годы еще свободнее от традиций, чем французское четырехлетие 1789- 1793-го. Вольтер и даже Руссо («безумный Сократ Национального Собрания», как называет последнего Бёрк) были, по крайней мере, классические писатели Франции. Что общего с Россией имеют Маркс или Бланки? Правда, Разин и Пугачев — чисто русские люди.

Может быть, Бёрк и прав. Но у революций есть своя историческая традиция. Она заключается в том, чтобы не

считаться с историческими традициями.

Destruam et aedificabo[{99}]. Это звучит гордо. Где уж там — aedificabo? В лучшем случае — aedificabitur[{100}]. А если угодно, то даже и не destruam: по нынешним временам кто в поле воин?

> L'ai vu partout le mal ou le mieux pouvait être,
> Et je l'ai blasphémé, ne pouvant le connaître;
> Et ma voix, se brisant contre ce ciel d'airain,
> N'a pas même eu l'honneur d'irriter le destin[{101}].

Концерт-митинг летом 1917 года. Три речи о том, что теперь не время для речей; Россия гибнет... В промежутках с той же эстрады тенора пели цыганские романсы и балерины танцевали экзотические танцы... Публика цветущего призывного возраста (единственный популярный институт старого строя — белый билет) шумно аплодировала и ораторам, и тенорам.

«В наше время говорили гораздо меньше», — сказал с недоумением один из замечательнейших русских людей Г. А. Лопатин.

Историк, вероятно, не без любопытства остановится на понятии политической ориентации. Положительно, война открывает новые горизонты даже перед людьми, видавшими, как им казалось, всякие виды. Много, например, мы знали храбрых генералов, увенчанных по заслугам всевозможными знаками отличий. Но такого заслуженного воина, как белогвардейский (прежде просто гвардейский) генерал Маннергейм, который за одну войну получил и орден Св. Георгия и орден Железного Креста, мы все же видим впервые, — если не восходить к преданиям наемных войск 17-го столетия. Наметилось и намечается еще много других вариаций на тему «Quantum mutatus ab illo Hectore...»[{102}]. И если бы все это были Гекторы... Теперь подобные вариации называются «переменой ориентации ввиду изменившейся конъюнктуры». Прежде это называлось иначе. В частности, в последние четыре года много людей было повешено на фронтах, да и в тылу, за гораздо меньшую амплитуду н колебаниях политической ориентации, притом независимо от какой бы то ни было конъюнктуры.

Ориентация у нас в настоящее время может быть только одна, — довольно старая: «Еже какова скорбная не сотворится нам, то вся сия Герман ради случися».

Кроме того, еще Вовенарг сказал: «Le trafic de l'honneur n'enrichit pas»[{103}].

Но, может быть, он и преувеличивал.

«Капиталистическое общество было беременно социализмом.

Война ускорила роды» — такова точка зрения большевиков.

Что-то в этом роде предсказано в «Апокалипсисе». О нынешних событиях все труднее мыслить иначе, как образами Апокалипсиса.

«И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.

И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами...

Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца».

Дальше в «Апокалипсисе» не поймешь; жена родила, «и восхищено было дитя ее к Богу».

Землю оно, значит, покинуло. Дракон так или иначе погубил и мать, и ребенка.

Не осталось ничего...

> Mephistopheles. Die Uhr steht still.
> Chor. Steht still. Sie schweigt wie Mitternacht Der Zeiger fallt.
> Mephistopheles. Er fällt, es ist vollbracht.
> Chor. Es ist vorbei.
> Mephistopheles. Vorbei! Ein dummes Wort.
> Warum vorbei?
> Vorbei und reines nichts, vollkommnes Einerlei{104}...

Труды, мечты десятка поколений надолго прошли vorbei{105}.

— Warum vorbei{106}?

— Ich liebte mir dafür das Ewig-Leer{107}, — говорит далее Мефистофель.

«Народные комиссары», «революционный трибунал», «декларация прав трудящихся»... Почти все революции 19-го и 20-го столетий имитировали образцы 1789- 1799 годов, и ни один из мексиканских переворотов, происходящих регулярно два раза в год на улицах Вера-Круца, не обошелся без своего Робеспьера и без своего Бабефа. Любопытно, что образцы, в свою очередь, не блистали особой оригинальностью, и тот же Бабеф, которому судьба послала прозаическое имя Франсуа-Ноэля, окрестил себя сперва Камиллом, а затем Гракхом. Тогда был в моде древний Рим.

Правда, герои Великой революции играли премьеру. И, надо сказать, играли ее много лучше. Есть жрецы и жрецы. Есть Прометей и есть Калхас... Если б Робеспьер удрал в Швейцарию после 9 термидора, на свете было бы меньше одной героической легендой. И потому нельзя сказать с уверенностью, что в

кофейнях женевского Carouge туристам 21-го столетия будут показывать столик комиссара Троцкого, как в парижском Cafe Procope гордятся столом Робеспьера. Но так грандиозен фон, на котором действуют русские пигмеи, и так велика власть исторической перспективы, что, быть может, и вокруг народных комиссаров создастся героическая легенда. История терпела не такие надругательства над справедливостью и здравым смыслом.

Doch werden sich Poete finden
Der Nachwelt deinen Ruhm zu künden,
Durch Thorheit Thorheit zu entzünden{108}.

Россия будет, вероятно, принадлежать людям, которые сумеют дать крестьянину то, что ему нужно. Крестьянству же нужны три вещи: мир, земля и порядок. Он их и получит именно в этой последовательности. Вопрос, от кого.

А народовластие? Бернард Шоу уверяет, что оно создано не для блага народа, а для его развлечения. Так думал и Наполеон. Если даже они не правы (а они, конечно, не правы), то дело от этого не меняется. Люди дорожат такой забавой не меньше, чем хлебом...

Говорят, демократия обанкротилась. Кто же не «обанкротился» в это ужасное четырехлетие? Старый мир даже не скомпрометирован войною, а прямо уничтожен. Поскольку речь идет о критике существующего строя, Ленин — отсталый человек, а Себастьян Фор — умеренный консерватор.

Пусть корона не к лицу народу, — в чью пользу откажется он от нее? По Гизо, в пользу банкиров, которые всегда носили ее очень скверно? Или, по Ренану, в пользу философов, которые, вероятно, носили бы еще хуже? Демократия все же лучший выход, придуманный человеческой мыслью за три тысячи лет истории.

В этом ее скромное оправдание. Не нужно ни поминок, ни апофеоза.

Демократической идее, однако, придется пережить тяжелое время: она, по-видимому, пришла в некоторое противоречие сама с собой. Опыт показал, что ничто так не чуждо массам, как уважение к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе. Иллюзий у нас больше нет. Мы массами руководить не можем. Но если массы будут руководить нами? Если державная воля народа потребует у нас отречения от азбучных начал либерализма?

Интеллигенция воссоздавала народ из глубин собственного духа, — вроде как Врубель писал Гамлета с самого себя. Мы сеяли «разумное, доброе, вечное» или, по крайней мере, думали, что сеем. Но толпа сказала нам не «спасибо сердечное», а нечто

совершенно другое...

Уйти от народа все же некуда: в XX веке нет ни аскетических схимников, ни комфортабельных келий. Жить с массами «в долине» нам так или иначе придется: на Монблане «гордого одиночества» коротать дни неудобно, да и скучно. Я вспоминаю уныло: «Kehre, mein Freund, in deine Einsamkeit»{109}. В какой партии состоят ныне русские Штокманы? На каких популярных курсах ведут агитацию Заратустры? Глубокочтимый А.В. Луначарский состязается ныне с лучшими клоунами цирка «Модерн», читая социал-дезертирам лекции — правда, о Боге, но, вероятно, «в связи с текущим моментом».

Барбэ д'Орвильи, обожавший всевозможные ходули, был католик «par mépris de cette triste époque, pour un balcon d'où cracher sur ce peuple»{110}. Возможно, что в недалеком будущем появятся социалисты сходного толка. Покажутся слишком жалкими народные массы в своем невежестве, в своей тупости, в своем бессердечии; «любовь к дальнему» будет искать сил в чувстве жалости и презрения к «ближнему». Будут приходить к социализму, как Толстой к христианству — «от противного». Будут исходить из того, что все другое еще хуже.

Впрочем, так ли это окажется ново? Далеко не всегда в основе коммунистических настроений лежала действенная любовь к народу.

Беру те же примеры.

Аристократ по рождению, свидетель суда над Сократом и его смерти, Платон ненавидел народ, и немногие из остроумцев нынешней буржуазии отпускали по адресу «товарищей» больше язвительного негодования, чем можно найти на этот счет в творениях эллинского мудреца.

Недалеко ушел от него и Кампанелла: в томительные часы тюремной жизни монах-революционер излил свое презрение к массе в стихах, где народ называется диким, неразумным зверем, не ведающим добра и зла.

Что касается Мура, то он, вообще говоря, был много благожелательнее к людям. Но, по свидетельству истории, благочестивый канцлер короля Генриха VIII любил только католиков; протестантов же терпеть не мог — и много еретиков всходило на костер, в канцлерство автора «Утопии», за непризнание католических догматов — до тех пор, пока, под влиянием двойной убедительности монастырского золота и красоты Анны Болейн, Генрих VIII не уверовал в учение Лютера, после чего еретики стали восходить на костер за признание католических догматов.

Примеры, более близкие к нам по времени, часто говорят о

том же. Образцом любви к людям не является и наш современный Кампанелла, генерал Дитятин русской революции, так хорошо сочетающий пугачевский марксизм с самодурством симбирского помещика и русское примитивное лукавство с фанатизмом протопопа Аввакума.

Но после того, как идеи коллективизма получат действительное осуществление?.. Так незначительными покажутся к тому времени нынешние обещания даже в области благ материальных. Тот же Кампанелла, перечисляя великие преимущества коммунистического строя соляриев, с восторгом описывал, между прочим, как счастливые граждане «Государства Солнца» стирают свое белье не менее одного раза в месяц. Это ему, по тем временам, представлялось идеалом гигиены и чистоты.

О ценностях нематериальных трудно и говорить. Кто предскажет, какую психологическую реакцию вызовет против себя осуществленный коллективизм? Мы видели, что пришло на смену философии и практики XVIII века. В область какой антисоциалистической романтики потянут фантазию пресыщенного человечества Шатобрианы XXI столетия? И где же будет конец, окончательный конец, этой фантастической course des abimes? Или весь смысл в том, что такого конца быть не может?

Что говорили мудрейшие из мудрых:

«Ces grands cops sont trop malaises à releker étant abattus ou même a retenir étant ébranlés, et leur chutes ne peurent etre que très rudes...» (Descartes)[{111}].

«Denn die grosse, schwere Masse sich in rascher Bewegung vorzustellen, ist ein schrecklicher Gedanke...» Шопенгауэр[{112}].

Люди меняются. Но меняются ли народы? Стендаль называл немцев «les bons et simples descendants des anciens Germains»[{113}].

В их философии он видел «une espèce de folie, douce aimable, et surtout sans fiel»[{114}]. А Стендаль был один из самых тонких наблюдателей, каких мы знаем.

Идея войны на истощение не так нова. Ее высказывал еще Фридрих II: «Ce ne sera pas l'esprit d'humanité qui nous la fera faire, cette paix, à tous tout que nous sommes, Impériaux, Russes, Français: se sera le manque d'argent; on s'égorgera jusqu â l'extinction de ce vil métal»[{115}].

Вольтер писал на склоне своих дней Даламберу: «Chacun a pris son parti tout doucement, et je crois qu'on restera la. Les charlatans en tout genre débiteront toujours leur orviétan; les sages en petit nombré s'en moqueront. Les fripons adroits feront leur fortune. On brûlera de temps en temps quelque apotre indiscret. Le monde ira

toujours comme il est toujours allé; mais conservez-moi votre amitié, mon très cher philosophe»{116}.

XVIII век отличался в высшей степени своеобразной психологией. С такими взглядами Фридрих постоянно воевал «за принципы», а Вольтер всю жизнь был просветителем.

Задолго до войны и революции великий наш мудрец утверждал, что русский народ глубоко равнодушен к братьям славянам и к Константинополю. Национальный порыв 1914 года казался опровержением этих слов. И только скептики тогда себя спрашивали: так ли уж достоверно, что Л.Н. Толстой совершенно не знал заветных «чаяний» русского народа, а Николай II и г. Горемыкин, напротив, превосходно их знают... Тот же бесконечно умный Толстой писал, что русский народ совершенно равнодушен к царю. Эти пророческие слова в свое время казались еще более далекими от жизни. Теперь нам временно приходится вспомнить третье утверждение Толстого: он говорил, что патриотизм есть чувство, совершенно незнакомое подавляющему большинству русского народа... Этот человек был точно лишен способности ошибаться, когда говорил о том, что есть (а не о том, что быть должно).

«Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку при них? По трое суток кликал он клич, — никто не являлся. Приходит Борма-ярыжка и берется исполнить царское желание. После тридцатилетних скитаний он, наконец, возвращается к московскому государю, приносит ему Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку и в награду просит у царя Ивана только одного: «Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках».

Вл. Серг. Соловьев, который передает эту легенду, видит в ней «не лишенное знаменательности заключение для обратного процесса народного сознания в сторону диких языческих идеалов». Такой вывод хорошо укладывался н общую философско-историческую концепцию Вл. Соловьева; но тем не менее (или, вернее, поэтому) он совершенно произволен. Какие уж тут «идеалы»? Тут водка, а не идеалы. А если «идеалы», то почему «языческие»? Римский Сенат, бесспорно языческий и по-язычески встретивши и известие о битве при Каннах, ничего ни в каком отношении не теряет в сравнении с русским и самобытным Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, который так дружно аплодировал сообщению о Брестском договоре. Не теряет и с точки зрения мысли, заложенной в легенду о Борме-ярыжке.

Что касается самой легенды, то она не только «не лишена знаменательности», как говорит Соловьев, но исполнена грозного

смысла, раскрывшегося во всей полноте лишь в настоящие дни.

Тот же Иван Грозный оставил нам — по словам того же Вл. Соловьева — «самую верную и самую полную формулу христианской монархической идеи»: «Земля правится Божиим милосердием и пречистые Богородицы милостию и всех святых молитвами и родителей наших благословением и последи нами, государями своими, а не судьями и воеводы, и еже ипаты и стратиги». «Эта формула, — говорит Вл. Соловьев, — безукоризненна; нельзя лучше выразить христианский взгляд на земное черство. Но если это совершенное слово сопоставить с историческим образом того, кто его произнес, то какой новый потрясающий, трагический смысл оно получает. Поистине русская история по глубокому внутреннему интересу не уступит никакой другой».

В интересе, представляемом русской историей, конечно, сомневаться не приходится — особенно в наши дни. Может быть, интерес этот и не только «внутренний»; он прежде всего, если можно так выразиться, дидактический. По-видимому, России суждено служить школой наглядного обучения для Европы. Сколько лет мы являли миру воспитательное зрелище своеобразного осуществления «христианской монархической идеи». Теперь на нас европейцы могут учиться, как не надо делать революцию. Научатся ли однако?..

Но формула Иван Грозного интересна и без сопоставления, которое пришло на ум В. С. Соловьеву; интересна хотя бы в силу значительности поставленного в ней вопроса.

Кем же, в самом деле, правится русская земля? В первую очередь «Божиим милосердием», отвечает благочестивый царь. Это бесспорно — и глубоко прав был Тютчев, утверждая: «Les fonctions du Русский Бог ne sont pas une sinécure»{117}. «А последи нами, государями своими, а не судьями и воеводы, и еже ипаты и стратиги». Это не так бесспорно; результаты правления государей общеизвестны. Что до политических воевод, то и они в большинстве оказались отнюдь не на высоте положения; в этом Иван Васильевич был, к сожалению, прав. В результате владыкой оказался Борма-ярыжка, который, осуществляя давнишнюю мечту, немедленно отправился в кабак, бросив на произвол судеб и корону, и скипетр, и рук державу, и книжку. В особенности книжку.

Все это предсказано в философских драмах Ренана. Пьяный Калибан овладел властью и стал делать то, что полагается делать Калибану. Где же мудрый Просперо? Мы видели в нашей революции много Просперо разных степеней мудрости. Некоторые из них честно боролись с грубыми инстинктами

Калибана, кое-кто, как ренановский прообраз, попал в заключение, иные погибли...

Однако крайности сходятся. Некоторые из мудрейших Просперо своим благоприобретенным нигилизмом превзошли природного нигилиста Калибана. По-видимому, политический нигилизм проявляется либо на крайних низах культуры, либо на ее недосягаемых вершинах.

Мужик, отвечающий «мы вятские» на довод о потере Западной России, политический нигилист. Л.Н. Толстой, говоривший в сущности то же самое, такой же нигилист. Если в роли толстовского Иванушки-простака, который звал солдат тараканского царя: «Да вы, сердешные, совсем к нам жить приходите», — оказался в Бресте г. Троцкий, то это только случайная подробность...

«— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского Первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединили к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Так говорил Марье Кондратьевне первый русский пораженец или, вернее, первый теоретик русского пораженчества, Смердяков.

Но совершенно то же самое утверждал в 1813 г. Артур Шопенгауэр. В разгар немецких Freiheitskämpfe{118}, он открыто высказывал предпочтение власти умного Наполеона перед властью глупых монархов Германии и этим доводил до белого каления немецких патриотов Tugendbund'a{119}.

Оба — нигилисты. Крайности сходятся.

Не случайно Л. Н. Толстой так любил от всего общепринятого свободный русский народ. И не случайно Шопенгауэр терпеть не мог своих соплеменников, твердо верующих в честный банк, в философию Фихте, в лютеранскую добродетель и в монархию Гогенцоллернов...

Недавнее русское пораженчество было, разумеется, весьма далеко от шопенгауэровских построений мира. Зато оно много почерпало в умствованиях Смердякова.

«Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна».

Любопытно, что единомышленником Ивана Грозного по вопросу о правлении русской землей оказался П.Я. Чаадаев: «Façonnes, moulés, créés par nos souverains et par notre climat, ce n'est qu'à forse de soumission que nous sommes devenus un grand peuple»{120}. Этому факту автор «Апологии сумасшедшего» давал следующее объяснение:«Il faut bien le dire, c'est que nous n'avons

guère encore que des instincts patriotiques, c'est que nous sommes fort loin encore du patriotisme réfléchi des vieilles nations»[121].

Я не касаюсь вопроса о том, что мог, вообще говоря, разуметь под сознательным патриотизмом универсальнокатолически настроенный Чаадаев, черпавший мудрость жизни из ключей Шеллинга и отцов церкви. Думаю, кроме того, что в области практики «les instincts patriotiques» вряд ли не важнее, нежели «le patriotisme réfléchi». Но во всяком случае и «патриотические инстинкты»-то Чаадаев приписывал России, по-видимому, чересчур уверенно.

Но если диагноз Чаадаева весьма спорен, то его прогноз поистине принадлежит к самым замечательным страницам этого трудного и рискованного жанра мысли: «Nous sommes du nombre de ces nations qui ne semblent pas fair partie intégrante du genre humain, mais qui n'existent que pour donner quelque grande leçon au monde. L'enseignement que nous sommes destinés a donner ne sera pas perdu assurément; mais qui sait le jour ou nous retrouverons au milieu de l'humanité, et que de misères nous éprouverons arant que nos destinées s'accomplissent?»[122]

Странная судьба необыкновенной мысли Чаадаева: понять ее можно было только через столетие.

Рядом с этой замечательной страницей можно поставить знаменитый отрывок из «Капитанской дочки»:

«Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, и чужая головушка полушка».

Революционеры времен Пушкина, за редкими исключениями, его совершенно не понимали. Достаточно вспомнить, с какой ненавистью и презрением отзывается о нем в своих мемуарах декабрист Горбачевский. Пушкин, напротив, понимал и ценил декабристов. Но сколько бы объективной правды ни было в его оценке «бунта», правы были все же декабристы — и объективно, и субъективно.

Замышлять бессмысленное нельзя. Революция, которую *замышляют, невозможна*. К тем, кто хочет подчинить ее логическому руководству, она *беспощадна*. *Переворот* должен обратиться в *бунт*. Мысль Пушкина в своей сжатости гениальна.

Однако в числе деятелей русского революционного движения были люди и не молодые, и не жестокосердные; были даже (хоть в очень небольшом числе) люди, знающие наш народ. Но другого пути перед ними не было. Они шли за колесницей Джагернатха

или бросались под ее колеса.

Тургенев писал Герцену:

«Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм, das Absolute... Бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите, и ненавидит то, что вы любите, Бог принимает именно то, что вы за него отвергаете...» «Из всех европейских народов именно русский меньше всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный, неминуемо вырастает в старообрядца: вот куда его гнет и прет, а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю, как Скриб: «Prenez mon ours» — «возьмите науку».

Тургенев, вообще говоря, мало предсказывал и неохотно проповедовал, но почти всегда хорошо, потому что и предсказывал, и проповедовал он самые элементарные вещи, вроде ученье — свет, а неученье — тьма. Может быть, именно поэтому он у нас в России почитался оригиналом и европейцем. Однако в данном случае плохо помогло ему знание народа, которым он бесспорно превосходил Герцена. Надо было ответить и на вопрос, во что вырастет русский человек, «предоставленный» не самому себе, а опекунам, еще менее «нуждающимся в свободе» и столь же мало заботящимся о «науке». На этот вопрос взялась ответить жизнь.

Вдохновитель двух поколений русских патриотических публицистов К. Н. Леонтьев писал: «В 1871 г., пока шли переговоры о мире между Бисмарком и Тьером, я боялся до крайности, чтобы французы не сохранили бы как-нибудь целость своей территории. Но мечта сбылась, и я перекрестился».

Положительно, никакая дружба между государствами Европы не продержалась бы дня, если б мы время от времени перечитывали старые передовые статьи руководящих политических публицистов. К счастью, мы этого никогда не делаем.

Тот же Леонтьев, в свое время кое-кем произведенный чуть ли не в пророки, предсказывал, что в случае европейской войны за побитые горшки заплатят, в качестве слабейших членов обеих коалиций, Австрия и Франция. Интересное совпадение: то же самое, почти в то же время, почти в тех же выражениях, предсказывал на другом полюсе политической мысли Фр. Энгельс. Этот последний писал Зорге: «Если бы дошло до войны, то можно с полной уверенностью сказать, что после нескольких

битв Россия сойдется с Пруссией насчет Австрии и Франции, — каждая пожертвует союзником».

К. Н. Леонтьев с будущей европейской войной связывал так много радостных надежд, что нимало не огорчался неудачным для России исходом Берлинского конгресса: «Тогда (в 1871 г.), — писал он, — мы вошли бы в Царьград этот во французском кепи с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме; а теперь мы вступим в него именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники; в сердце же и уме с кровавой памятью об ужасном дне 1 марта».

Во всем этом вздоре о грядущей шапке-мурмолке и о французском кепи на голове Николая Николаевича Старшего любопытно лишь то, что он не только принимался всерьез, но, вдохновляя русских государственных людей, имел практические последствия в истории.

Тютчев тоже «предсказывал» (в апреле 1848 г.): «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — Революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».

К этому «предсказанию» г. Иванов-Разумник, находящийся ныне, к сожалению, в лагере скифов, добавляет следующее послесловие:

«Да, подлинно величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева! *Одно только*: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда — Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь — старая Европа стоит на той же страже против революционной России».

Это «одно только» несколько неожиданно. Поэт предсказал «одно только», — в действительности случилось нечто прямо противоположное. Но комментатор все же видит здесь величайшую углубленность и вдохновенное прозрение. Поистине поэты без риска могут предсказывать что угодно.

«Мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от спокойствия своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час».

Кто это говорит? Ленин? Троцкий? Нет, так писал в апреле

1877 г. Ф. М. Достоевский («Дневник писателя»).

Казалось бы, quod licet Jovi, non licet bovi{124}.

Книга, откуда взята эта цитата, вся состоит из политических предсказаний, из которых не сбылось *ни одно*. Война России с Великобританией; дружба России с Германией; торжество католической идеи во Франции; «Константинополь во что бы то ни стало будет русским»; «дети наши увидят, чем кончит Англия», — вот политические пророчества Достоевского.

Биржи ли европейской буржуазии, или спокойствие европейских пролетариев, или, может, что другое, — однако Европа *еще* держится. И не только первосортная Европа, то есть Англия, Франция, Германия, но и «лоскутная Австрия», и «шарманочная Италия», и «акционерная Бельгия», все *еще* держатся, тогда как великая Россия уже полгода во власти «Бесов»...

В минуты мрачного вдохновенья зародилась эта книга в злобном уме Достоевского.

Этот человек, не имевший ни малейшего представления о политике, был в своей области, в области «достоевщины», подлинный русский пророк, провидец безмерной глубины и силы необычайной. Октябрьская революция без него непонятна; но без проекции на нынешние события непонятен до конца и он, черный бриллиант русской литературы.

Схема русского революционного движения, взятого в многолетней перспективе, поражает быстрым падением вдохновения... Точно опера «Паяцы»... Прекрасен драматический пролог. Есть сильные места в первом действии. Вульгарно и ничтожно второе. Коломбина зарезана. Негодяй Тонио торжествует. Скоро послышится: la comedia finita...

Достоевский лучше всего предвидел второе действие. Деятелей пролога он ненавидел, его идей не понимал; об этом свидетельствует самый эпиграф «Бесов»: много, очень много свиней пришлось бы утопить в озере для того, чтобы очистить русскую землю от грехов, — в первую очередь от преступлений самодержавия. С другой стороны, какие же грехи искуплены смертью Лизогуба, Кибальчича или Софьи Перовской?

Первое действие, более или менее свободное от подлинной достоевщины, не отпиралось и мистическим ключом. Где в нем Ставрогины, Шатовы, где сказка о царевиче Иване, где полуземная мистика Кириллова? Достоевский отдал поклон катафалку, на котором не было покойника...

Царь отстаивал самодержавие, солдаты стремились к заключению мира, крестьяне хотели получить землю, помещики не желали ее отдавать, рабочие требовали огромной платы,

капиталисты отказывались платить, — какой уж тут мистицизм?

Верно был намечен культ пустословия, творчески предвосхищенный в гениальной карикатуре вечеринки у акушерки Виргинской.

Были, однако, в первом акте и моменты торжества духа над телом; в частности, и над языком.

Зато второе действие — апофеоз пророческого дара Достоевского. Верховенский и Шигалев, Свидригайлов и Карамазов, Смердяков и Федька-каторжник овладевали русской землей. Движущие силы октябрьского переворота слагались из животных инстинктов и из самой черной достоевщины.

Была также, вероятно, крошечная примесь идеализма.

Впрочем, и Свидригайлов «ужасно любил» Шиллера...

В удивительных сценах суда из «Братьев Карамазовых», в этой злой насмешке над правосудием, где обвинитель и защитник обмениваются длиннейшими, тонкими, в высшей степени убедительными речами, не заключающими в себе ни слова правды о деле убийства, прокурор Ипполит Кириллович заканчивает свое выступление так: «Роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться и станут твердою стеной перед стремящимся видением и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации!»

Эта тирада, которую Достоевский, потешаясь, вкладывал в уста разглагольствующего прокурора, по-видимому, заключала в себе не одни только цветы красноречия. В конце концов, не исключена возможность, что «последние усилия европейских правительств» так-таки и не дадут на Западе прорваться тем инстинктам разрушения, которые в течение четырех лет растит мировая война. Но если гипноз побед или всеобщая бесконечная усталость предотвратят от взрыва новой бури некоторые из великих мировых держав, то осмеянный Достоевским прокурор имеет много шансов оказаться истинным пророком.

«Управлять — это предвидеть». Предвиденья европейских государственных людей в свете нынешних событий комментариев не требуют. Если бы памятники политическим деятелям запрещалось ставить раньше чем через полстолетия после их смерти, можно бы осуществить огромную экономию в мраморе и

бронзе.

Впрочем, памятники и вообще являют лучшее доказательство большой снисходительности «потомства»...

В сфере своего специального предвидения недалеко ушли от государственных людей и те тонкие стратеги, которые три года назад клялись всеми святыми, что победят к такому-то числу. Один весьма известный генерал поклялся «честью своего мундира» уничтожить врага к Рождеству 1914 г. Где теперь этот генерал? Где его мундир? Где месть его мундира? Приблизительно с такой же точностью Гоголевский мужик утверждал, что бричка Чичикова доедет до Москвы и не доедет до Казани.

Во Франции в течение первого года войны военным министерством управлял адвокат Мильеран, а морским — сифилидолог Оганьер (зато во главе медицинско-санитарной части и цензурного ведомства были поставлены боевые генералы). Дела от этого шли нисколько не хуже. Теперь, наоборот, морским министерством правит адвокат, а военным — врач (но какой — сам Клемансо). И опять-таки не наблюдается особого недовольства пирожниками, тачающими сапоги. По-видимому, во Франции, как и в других странах, общественное мнение не слишком верит в непогрешимость генералов.

Не будем однако несправедливы и к генералам. Они оказались далеко не самыми худшими пророками на мрачном фоне разбитых надежд и несбывшихся ожиданий цивилизованных людей XIX и XX веков. Не говорю уже о разочаровании идеалистов, которые, как Бокль или Литтре, вообще отрицали возможность европейской войны, исходя из умственного и морального прогресса Европы. Но люди выкладок и цифр ошибались не менее жестоко. Шеффле доказывал на основании точных экономических расчетов, что будущая война не может продолжаться более восьми месяцев. Мольтке, никогда не занимавшийся политической экономией, считал такую цифру непомерно низкой. Старый фельдмаршал был, по-видимому, убежден, что на что другое, а на войну «он достанет» сколько угодно денег. Он действительно достал.

«В каком году наступит будущее?» — спрашивает ибсеновский звонарь.

Научная теория социальной революции выставляет следующие положения.

Развитие капиталистического строя происходит по определенным законам, в силу которых капитал концентрируется во все меньшем числе рук, а широкие массы населения подвергаются процессу пролетаризации. С другой стороны,

производство товаров растет быстрее, чем потребление, и все резче обозначается недостаточность рынка для великих промышленных стран, находящая выражение в империализме. Рано или поздно, но неизбежно должен наступить момент хронического перепроизводства, справиться с которым неустойчивое, неорганизованное капиталистическое хозяйство будет совершенно не в состоянии. Экономическая анархия повлечет за собой социальную революцию. Огромная масса пролетариата, прошедшего на гигантских заводах школу революционной дисциплины, легко справится с противостоящей ей кучкой магнатов капитализма. Произойдет экспроприация экспроприаторов: огромные богатства, накопленные благодаря прогрессу науки и неутомимому труду сотен миллионов людей, будут обобществлены и начнется новая эра в истории человечества.

Творцы научного социализма не описывали, в какие формы непосредственно выльется социальная революция и как быстро она справится с эксплуататорами. Впрочем, Фр. Энгельс еще в 40-х годах XIX века думал, что крушению капиталистического строя будет предшествовать великая война. Сходный взгляд высказывал в свое время и Карл Каутский.

Можно сделать, конечно, предположение, что в июле 1914 г. наступило предсказанное Марксом перепроизводство ценностей, которое повлекло за собой мировую войну и тем самым определило катастрофический момент социальной революции.

Нетрудно, однако, убедиться в том, что за последние четыре года европейской истории «имманентные законы развития капиталистического хозяйства» перестали, очевидно, быть имманентными, и проявились тенденции, действующие как раз в противоположном направлении.

Здесь уместны некоторые историко-статистические сопоставления.

Трехлетняя война 1812—1815 гг. стоила России 155 миллионов рублей. Теперь подобная сумма уходит в три дня. В битве при Коленсо, которую один из историков называет величайшим поражением Великобритании в XIX веке, англичане потеряли 1200 человек и 10 пушек. Теперь такая битва, быть может, не была бы упомянута в сообщении генерального штаба. Сто лет назад война еще могла стать выгодным делом для нации, так как она стоила в сто раз дешевле; и теперь иная колониальная экспедиция может до известной степени способствовать росту «национального богатства». Но современная европейская война никоим образом, ни при каких условиях не может обратиться в удачный business и — обстоятельство весьма любопытное —

многие из реальных политиков нашего фантастического времени проявляют ныне бескорыстный идеализм — сами того не зная.

В самом деле, какие «рынки», какие «пути», какие «выходы» могут окупить фантастические потери, понесенные всеми воюющими странами во время великой войны, этой чудовищной, бессмысленной, иррациональной исторической катастрофы? С большой вероятностью позволительно предположить, что, когда статистика подведет общий итог стоимости четырех лет войны, впервые с тех пор, как существует мир, в финансовую науку проникнет слово триллион (по немецкой математической терминологии — биллион, то есть 1000 миллиардов). До сих пор триллионы существовали только в астрономии. Министерства финансов воюющих держав обратились в издательские фирмы. В средние века один из королей Англии, для поправления государственных финансов, вынужден был продавать свои поцелуи богатым вдовам. К каким героическим средствам придется прибегать после заключения мира правительством так выгодно и дешево повоевавшей Европы?

Отсюда вытекает вопрос. Если даже предположить, что в июле 1914 г. наступило в Европе общее перепроизводство ценностей, определяющее момент социальной революции, то можно ли без горькой усмешки говорить о перепроизводстве ценностей и о недостаточности рынка теперь, когда в самых богатых из воюющих стран нет предметов первой насущной необходимости?

Следует также принять во внимание, что и другие имманентные процессы развития капиталистического хозяйства подверглись ограничению или даже вовсе сошли на нет в течение последнего четырехлетия. Война вряд ли способствовала концентрации европейского капитала. Правда, за это время составилось немало крупных состояний. Но в общем в течение войны денежные «богатства» распределились между огромным числом людей: обилие печатных денег у крестьян, не говоря о бесчисленных поставщиках, приемщиках, ходатаях, посредниках, ни для кого не составляет тайны. Материальные же богатства подверглись самому беспощадному уничтожению, и в итоге за счет войны не нажилась даже и буржуазия.

Таким образом, если все чего-то не предвидели, то одного обстоятельства не предвидели и марксисты: из тупика перепроизводства, к которому ведет тенденция развития капиталистического мира, нашелся второй, запасной выход «на случай пожара»: вместо обобществления ценностей произошло их разрушение в невиданном и неслыханном масштабе. Когда настала долгожданная пора экспроприации экспроприаторов,

неожиданно, на беду, оказалось, что экспроприировать нечего, хотя «капиталистов» очень много. Миру, основывающемуся на новом принципе, ныне остаются в наследство разоренные страны, лежащие на морском дне корабли, расстрелянные снаряды, сожженный порох, обязательство кормить десятки миллионов инвалидов и сирот, да еще несколько сот миллиардов неоплатного государственного долга.

В частности, у нас в России единственным орудием производства является в настоящее время штык. В сущности, пугачевщина 18-го века открывала перед нами почти такие же возможности социализма, как нынешние апокалипсические времена.

Совершенно очевидно, что после войны социализм должен все больше становиться проблемой развития производительных сил. Но так как an und für sich{125} он все же является проблемой перераспределения, то в будущем весьма вероятен, особенно в связи с колониальным вопросом, ряд конфликтов мучительного, быть может, даже трагического свойства. Научной мысли придется много поработать над этими конфликтами, и не надо терять надежды, что она найдет более или менее приемлемое решение.

Утешаться приходится, в частности, тем, что война, повлекшая за собой стихийное разрушение ценностей, вместе с тем необычайно способствовала развитию «энергии». Подумать только, что Келлерман в своем фельетонном «Туннеле» поразил воображение читателей зрелищем концентрированной человеческой воли. Что такое прорытие атлантического туннеля по сравнению с подвигами людей, которые при 30 градусах мороза брали штурмом неприступные высоты, обменивались миллионами снарядов в течение часа, эвакуировали в несколько дней огромные города?

Европейское человечество никогда не «работало» так, как в последние четыре года. При таком же темпе созидающего творчества оно через известный (немалый, конечно) срок времени могло бы стать богаче прежнего. Правда, в ближайшем будущем, как и сейчас, для энергии человечества, вероятно, найдется другое, отнюдь не созидательное, применение. Но должен же рано или поздно истощаться в нас запас воли к трагическому во всех формах проявления последнего; должны же люди истосковаться по «поэзии мирной будничной жизни»; должен же наступить период духовно-нерадостного, но материально-созидающего затишья, вроде того, какой последовал за бурным двадцатипятилетием 1789—1815 гг.

Так или иначе, к Zusammenbruchstheorie{126} опыт заставит

внести некоторые поправки. На вопрос ибсеновского звонаря мы еще подождем ответа.

Весьма нелегко определить, по какому логическому принципу делятся стороны в нынешней «классовой борьбе»: большевики сражаются с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. Очевидно, люди воюют с кем попало — по соображениям географического удобства.

Классовая борьба у нас вдобавок осложняется некоторой застенчивостью. Так, вожди русской буржуазии до сих пор стыдятся своего ремесла. У нас самое что ни есть подлинное купечество почему-то занимается мимикрией под внеклассовую интеллигенцию. С другой стороны, добрая часть русской внеклассовой интеллигенции живет такой же мимикрией под рабочий пролетариат.

«Красный цветок русского зла, который прежде цвел в Царском Селе, теперь цветет в Смольном институте», — говорил один любитель образной речи...

Пышно расцветший большевизм не болезнь, а скорее симптом болезни. Мир болен застарелым невежеством, и Россия, разумеется, всех опаснее. Нам, правда, от такого диагноза не легче. Врачи называют скоротечную чахотку цветущей — phtysis florida{127}, — и она действительно такова — с точки зрения чахотки. Но позволительно стать и на точку зрения пациента.

Это было в дни побед и торжеств Великой Французской революции, в те дни, когда Париж приковывал к себе напряженное внимание человечества, в те дни, когда старик Кант выходил на Кенигсбергскую дорогу, чтобы скорее встретить почтальона, привозившего последние известия из освобождавшей мир Франции. В эти дни великих надежд Фридрих Шиллер скорбно писал:

«Попытка французского народа восстановить священные права людей и завоевать политическую свободу обнаружили только его бессилие... Момент был чрезвычайно благоприятен, но он встретил развращенное поколение, которое не было его достойно и не сумело ни возвыситься до этого прекрасного случая, ни им воспользоваться...

По своим действиям познается человек и какой же образ являет он нам в зеркале настоящего времени? В низших классах грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все связи социального порядка и с непреодолимой яростью торопятся к животному самоудовлетворению... Не свободных людей угнетало государство, оно диких зверей держало в спасительных цепях... С другой стороны, цивилизованные классы

являют еще более отталкивающее зрелище умственной нищеты и низменности в характере...

Это ли человечество, права которого отстаивала философия; это ли человечество, которое носит в уме благородный гражданин мира; это ли человечество, в котором новый Солон мог бы осуществить свой план государственного устройства?.. Французская революция погибнет так же скоро, как родилась; республиканская конституция рано или поздно выродится в анархию, и единственное спасение нации будет заключаться в том, что неизвестно откуда явится мощный человек, который укротит бурю, восстановит порядок и твердо зажмет в своей руке бразды правления, хотя бы ему пришлось стать абсолютным повелителем не только Франции, но и большей части Европы»{128}.

Этому блестящему предсказанию одинаково чужды и социология, и политическая экономия. Психологический силлогизм Шиллера приблизительно таков; осуществление идей «Декларации прав человека и гражданина» предполагает высокий моральный уровень людей, призванных осуществлять эти права. Люди конца 18 века, и в частности вершители судеб Франции, весьма далеки от такого уровня. Следовательно, революция обречена на гибель. Любопытно, что почти в то же время точно такой же психологический силлогизм зародился в уме артиллерийского поручика Бонапарта, который, размышляя над правами и пороками французов (подлинные его слова), сделал практические выводы о бренности великой и нераздельной республики, весьма, как известно, пригодившиеся ему в жизни.

В сущности, этот шиллеро-бонапартовский силлогизм теперь вовсе не представляется убедительным. Не так уж ведь далеки были от земли идеи «Декларации прав», с их гениальной подстановкой удобного «равенства всем перед законом» наместо неудобного равенства просто. Осуществили же эту «Декларацию» — по крайней мере отчасти — праведники XIX века. Как мало, в сущности, было нужно для осуществления «прав человека» и как много пролито было по этому случаю крови, не говоря о чернилах...

Буржуазия конца 18-го века в культурном отношении стояла выше дворянства; однако, чтоб вырвать у последнего монополию власти и привилегий, понадобился добрый десяток больших, малых и крошечных революций. Современный пролетариат по своему культурному уровню неизмеримо ниже буржуазии, а задачу себе он ставит неизмеримо труднее: смешно даже сопоставлять ничтожные, казалось, препятствия, стоявшие на пути «Декларации прав человека», с той безграничной

хозяйственной и психологической инерцией, на которую неизбежно наткнется в переживаемое нами время попытка осуществления «Декларации прав трудящихся».

Экономическое наследие войны ужасно. Но моральное много хуже.

Что, в самом деле, сказал бы Шиллер о той школе, через которую ныне прошло человечество перед предполагаемым вступлением в новую эру? Народы, так блистательно срезавшиеся на экзамене умственной зрелости 1914 г., развращены войною глубоко и надолго. Европа изолгалась и одичала. Цвет поколения провел четыре года в кровавой праздности траншей, утратил привычку к мирному производительному труду, свыкся со всеми формами самых отвратительных преступлений. Зверь разбужен и вышел на волю.

От поколения, зараженного ненавистью и сифилисом, родятся ли новые, лучшие люди?

Я слышал когда-то, как Жорес воскликнул в одну из мрачных своих минут: «Le socialisme héritera d'un monde trop perverti» — «Социализм унаследует чересчур развращенный мир...»

А все-таки, *скорее всего*, унаследует. Это наибольшая *вероятность*.

— С социализмом кончено навеки, — говорят перепуганные люди. Говорят обыкновенно с радостью: кого этот жупел не обидел? Герцен обессмертил коллежскую ассесоршу, которая всю жизнь не могла простить Наполеону преждевременную смерть своей коровы, скончавшейся в 1812 г. Теперь коллежская ассесорша, потеряв не одну корову, во всем винит социализм, отождествляя его с пугачевщиной, и ждет не дождется спасителя. Пугачев не спас ее от Гинденбурга; она надеется, что Гинденбург спасет от Пугачева...

Такая возможность не исключается, но поручиться даже и в этом никак нельзя.

Социализм не виноват; ассесорша тоже не виновата; тем не менее потерпеть придется обоим. Мы живем в историческую эпоху, когда стала чрезвычайно строгой старая взяточница Немезида и сделалась небывало грозной расплата не только за свои, но и за чужие грехи...

Во всяком случае, если кончено с культурным социализмом, то кончено и с самой культурой. Если не кончено с культурой, то будет и социализм, как он всегда был. Проблема его оправдания тесно связана с вопросом о том, быть ли или не быть современной цивилизации.

Известная судьба гегелевского изречения: «Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig» — «все

действительное разумно; и все разумное действительно». Когда-то оно возбуждало бури негодования и восторгов. Потом его растолковали: Гегель не ставил будто бы знака равенства между разумом и действительностью вообще. Он имел в виду *истинно-действительное*. И уже Эдуард Ганс, выпустивший посмертное издание «Философии права», доказывал, что в формуле Гегеля не было ничего реакционного.

Об этом можно, разумеется, спорить. Вот что говорит Гегель в знаменитом предисловии к «Jrundlinien der Philosophie des Rechts»: «Настоящая работа, поскольку она содержит учение о государстве, должна быть только попыткой *понять и представить государство как нечто разумное в себе* (als ein in sich Vernünftiges). В качестве философского произведения она *всего дальше от конструирования государства, — каким последнее быть должно*» (einen Staat, wie er sein soll{129}). Стоит прочесть хотя бы девятнадцать параграфов (§§231—249), посвященных Гегелем полиции, и двенадцать (§§275—286), относящихся к власти монарха, чтобы усомниться в верности слов Эдуарда Ганса. Или же пришлось бы затеять спор о том, что такое полиция и die fürstliche Jewalt: просто ли действительное или истинно-действительное? Конечно, в свое время велись и такие философские споры; ибо, как говорит, по другому поводу, не без гордости тот же Эдуард Ганс: «Was hat der deutsche Jeist nicht alles begründet oder zu begründen versucht?»{130}

В сущности, изречение Гегеля вовсе ему не принадлежит. Без всяких оговорок, без всякого желания укрыться за истинно-действительное, ту же мысль гораздо раньше высказывал Поп:

> «All discord — harmony not understood,
> All partial evil — universal good;
> And spite of pride, in erring reason's spite,
> One truth is clear: whatever is is right»{131}.

Поэты смелее философов, ибо с них спрашивают меньше...

Всего несколькими страницами дальше знаменитого изречения Гегель высказал мысль менее вызывающую, но неизмеримо более значительную и интересную:

«Um noch über das *Belehren*, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der *Gedanke* der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprocess vollendet und sich fertig gemacht hat... Wenn die Philosophie ihr Jrau in Jrau malt, dann ist eine Jestalt des Debens alt geworden, und mit Jrau in Jrau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst

mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug»{132}.

Эта мысль не только прекрасна по форме и по содержанию. В наши дни она, кроме того, и *до некоторой степени* утешительна. Над состарившимися формами жизни, в час наступления сумерек (таких сумерек, какие Гегелю и не снились), сова Минервы должна скоро начать свой тяжелый полет...

Но все-таки очень жаль, что философия является «immer zu spät»{133}.

В теории — преимущество реформы перед потрясением достаточно очевидно. В теории — Бернштейн наголову разбил Бакунина. На практике — Бакунин празднует победу на Бернштейном. Жизнь идет не по тому пути, по какому ей следовало бы идти.

Это тоже достаточно очевидно, как a priori, так и a posteriori.

Но в вопросе об историческом оправдании русской революции будут все же приняты во внимание не одни только contra, ныне щедро сыплющиеся со всех сторон. Этих contra почти так же много, как много теперь людей, которые с самого начала все предвидели и «с первого дня говорили»... Есть, однако, и pro.

Удачных революций не бывает. Революция по природе своей не может творить. Она лишь создает такие условия, при которых будущее государственное творчество становится возможным и — главное — неизбежным, как бы ни кончилась сама революция. По-видимому, законодательное творчество лишь с трудом обходится без периодических доз революционного фермента. Сколько времени понадобилось бы лучшему парламенту в мире для того, чтобы высидеть мартовские декреты Временного правительства первого созыва?

А много ли осталось в жизни от этих памятных декретов?

Что-то все-таки осталось. В смысле *каталитическом* для России не пройдет бесследно даже безграмотное творчество декретоманов Смольного института.

Может быть, в ближайшие десятилетия политическая мысль выработает промежуточные формы между тяжеловесной артиллерией парламентской говорильни и холостыми снарядами скорострельного творчества революции...

За исключением дворцовых и династических переворотов, все революции неудачны, — если их рассматривать вне надлежащей перспективы. Есть два рода революций. Одни подавляются немедленно и влекут за собой в результате большее или меньшее число казней. Их обыкновенно называют уменьшительным именем восстаний, — а они, в сущности, есть самые возвышенные, героические революции. Таково было восстание декабристов; таково было восстание Косцюшки; такова была

эпопея Народной Воли.

Революции второго рода развиваются быстро и грозно, но их «развязка» наводит на скорбные мысли. Великая Французская революция, «закончившаяся» торжественным коронованием сперва Наполеона I, а потом Людовика XVIII, в перспективе одного двадцатипятилетия — тяжелый нелепый кошмар. Такова в аналогичной перспективе Великая английская революция с финалом, где Кромвель называется Монком и на смену казненного Карла I приходит вдвое худший Карл II. Таковы же революции 1848 и 1871 гг.

И тем не менее всегда что-то остается. Вопрос оправдания революции в цене, которой куплено это «что-то». Да еще в невещественных ценностях — в остающейся *легенде*...

Вопрос о цене для России решится все же только в день окончания мировой война.

Но легенда? Вместо Вальми — Калущ, вместо пирамид — Двинск, вместо Дантона — Троцкий, вместо Карно — Крыленко, вместо Бонапарта — матрос Железняков.

В лучшем случае *легендой* русской революции будет то, что вожди ее первого периода, имея полную возможность сохранить свою власть и спасти от хаоса Россию ценой измены союзу и собственного бесчестия, на этот путь все же не стали. Некоторые из них ясно предчувствовали и предпочитали гибель...

На трудном пути революции одни заблуждались меньше, другие больше. Одни могут говорить mea culpa{134}, другие — mea maxima culpa{135}. Но и без тысячи ошибок над всеми неумолимо висел и висит рок великой войны.

Вековая темнота ускорила катастрофу в России. Там, на Западе, «бунд» еще только переходит из области очень возможного в область очень вероятного. Один лишний год выдержки засвидетельствовал огромное превосходство западной культуры и нервов. Однако всякой выдержке может прийти конец.

Ленин будет, вероятно, признан гениальным человеком в тот день, когда на Западе вспыхнет революция. Но так как «объективные условия коммунистического строя» существуют в 1918 г. только в голове большевистского Аввакума, то последствием социальных потрясений в Европе будет, скорее всего, почти такой же грабеж награбленного, почти такое же моральное и умственное одичание.

Перед нами не премьера и, вероятно, не последнее представление... А, казалось бы, после того, что было и будет, над этим драматическим жанром много прежних ценителей должны б поставить крест с могильной надписью: «Род. в 1793 г. в Париже, сконч. в 1918 г. в Петербурге».

Будущее темно. Куда влачит нас колесница Джагернатха?.. Жизнь не перейдет после войны ни в Африку, ни в Австралию. Материальная культура Европы выдержит так или иначе даже подобные испытания. Но какая участь постигнет высшие ценности европейской цивилизации, сказать трудно:

Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит.

notes

1

Если змей пожирает змея, он оттого не становится драконом.

2

Раз, два, полиция,
Три, четыре, офицер (нем.).

3

Моя профессия — сеять сомнения (фр.).

4

Здравый смысл всегда побеждает (*слова Вольтера*).

5

Но он не очень торопится (фр.).

6

Сделал тот, кому выгодно (лат.).

7

Золотая середина (фр.).

8

Сила делает право (нем.).

9

Если есть сила, то есть и право (нем.).

10

Сила превосходит право (фр.).

11

Право — это продолжение насилия (фр).

12

«Афоризмы о человеческой мудрости» (нем.).

13

Белокурая бестия (фр.).

14

Мир это большое кораблекрушение, лозунг людей — спасайся, кто может (фр.).

15

Не спутай (лат.).

16

Ничего, достойного оплакивания (фр.).

17

«Над схваткой» (фр).

18

Вам, которые нас знают... К вам взываем мы: верьте нам верьте! (нем.)

19

«Разве не правда...», «Разве не правда...» (нем.)

20

«Честные уста события» (буквально).

21

Книги имеют свою судьбу (лат.).

22

Ради судьбы читателя (лат.).

23

Превосходительство (нем.).

24

Уронил себя в глазах (фр.).

25

Муж (человек) свободной жизни (лат.).

Методичным духом. (нем.)

27

Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 г. (по первым лат. словам текста).

28

Изобретение иноземное, изготовление немецкое (фр.).

29

Принято не курить (фр.).

30

Не курить. Курить запрещено (нем.).

31

Помни, ты правишь сообществом (государством) германского народа (лат.).

32

С венком победителя (нем.).

33

Они услышат обо мне, эти гусаки (фр.).

34

Я должен кого-нибудь укокошить (фр).

Страдающего города (um.).

«Берлинская ежедневная газета» (нем.).

37

С ярым прилежанием (нем.).

Это мудрость последнего заключения (вывода) (нем.).

39

Наслаждение (нем.).

40

Первое (лат.).

41

Второе (лат.).

42

Бог или природа (лат.).

43

Стыдно не быть бесстыдным (лат.).

44

Ни серебра, ни привратника (фр.).

45

Без немецкого милитаризма немецкая культура давно была бы стер та с лица земли (нем.).

Вырывайте кресты из земли,
Все должны стать мечами... (нем.)

47

Тот, кто видит все в Боге, не видит ничего в вере (фр.).

Сударь, не говорите мне об этом человеке (фр.).

49

Это так безобразно, что становится прекрасным (фр.).

50

Парихмахер (фр.).

51

Бош (фр) — презрительная кличка немцев, появившаяся во времена 1-й мировой войны.

Буквально: «Лето Господне» (лат.).

53

Пессимисты постоянно ошибаются. Но все еще по избытку оптимизма (фр.).

«Дальше — тишина» (англ.). (В переводе М. Лозинского.)

55

Хотя бы больной издох (фр.).

Непредвиденный прорицатель (фр.).

57

Дорого бы я дал, чтобы точно узнать, ради кого, собственно, он вершены те деяния, о которых вслух говорят, что они совершенны для отечества.

Истина — друг, но больший друг — Платон (лат.).

Опасение это, по-видимому, должно быть признано неоправдавшимся: вера в печатное слово остается непоколебимой и после четырех лет войны.

Неудавшиеся идеалисты (фр.).

61

История пишется беспартийными людьми. Они между собой не согласны, потому что беспартийные люди имеются во всех партиях (фр.).

62

Пусть же все станет хаосом и пусть из хаоса выйдет новый и возрожденный мир (фр.).

63

Грязные боши (фр.).

Боже, накажи Англию (нем.).

«Воспоминания», «Ретроспективные взгляды», «Дневники» (нем.).

66

Одержимый безумной мыслью лично заменить трибунал народа (фр.).

67

Странный доктор (лат.).

Здесь: насмешник (фр.).

69

Сенаторы хорошие люди, но Сенат скверное животное (лат.).

70

«Результат моего жизненного опыта — ничтожество человеческого знания и действия, в особенности политического» (нем.).

Знанию (нем.).

Действию (нем.).

73

Шум для фатов, сетования для глупцов, человеческое достоинство уходит, не произнеся ни слова (фр.).

Если хочешь войны, готовься к миру (лат.).

Или Цезарь, или ничего (лат.).

Горе слепцу, красно говорящему, горе слепцу идущему (лат.).

77

С точки зрения долговечности (лат.).

78

Это мне было утешеньем в закате Трои, в ее печальных развалинах: року противоставлялся мною рок (лат.).

И привычное согласие (лат.).

80

Консьержери — тюрьма в Париже.

81

Лекарства не лечат (лат.).

82

Хирургический инструмент (железо) лечит (лат.).

83

Нужны были двадцать лет и два миллиона принесенных в жертву (фр.).

Он хочет или думает, что хочет (фр.).

85

Я понимаю свободу (фр.).

86

Избравшие предлогом так называемый принцип всеобщей пользы могут пойти, куда захотят (фр.).

87

Всеобщее избирательное право — это контрреволюция (фр.).

88

Социальная злоба, как и религиозная злоба, — часто более сильна, чем злоба политическая (фр.).

Все обозначил (фр.).

С нами Бог (нем.).

Нетрудный, кстати сказать, стих.

Музыка будущего (нем.).

93

«Наша самая несомненная добродетель — это быть проницательными» (фр.).

«Город Солнца» (лат.).

Мы этого никогда не узнаем (лат.).

Запрещаю (лат.).

97

Захочет ли сегодня Филипп тихо сидеть за столом... (нем.)

«Размышления о революции во Франции» (англ.).

99

Разрушил и воздвигаю (лат.).

100

Предстоит воздвигнуть (лат.).

101

Я видел зло повсюду, где могло быть добро,
И я богохульствовал, не желая в том признаться;
И мой голос, дробившийся о твердь небесную,
Не был тот же самый, что имеет честь раздражать завтра (фр.).

102

Как он изменился по сравнению с прежним Гектором... (лат.)

103

«Торговля честью не обогащает» (фр).

Мефистофель. Часы стоят.
Хор. Стоят. Молчат, как ночь. Упала стрелка
Мефистофель. Упала стрелка, все свершилось.
Хор. Конец.
Мефистофель. Конец! Глупое слово.
Почему конец?
Конец и чистое ничто, абсолютное единообразие... (нем.)

105

Мимо (здесь: конец) (нем.).

Почему конец? (нем.).

107

Я полюбил взамен Вечно Пустое (нем.).

108

Но найдутся поэты,
Которые сообщат потомкам о твоей славе
Разжигать глупость глупостью (нем.).

109

«Уйди, друг мой, в свое одиночество» (нем.).

110

Из презрения к этой печальной эпохе, для того, чтоб иметь балкон, откуда можно было бы плевать на этот народ (фр.).

111

«Слишком трудно поднять великие эти тела, если он повержены, и даже их поддержать, если они поколеблены. А падение их может быть только очень тяжким» (фр.).

112

«Представить себе большую, тяжелую массу в быстром движении, это страшная мысль» (нем.).

113

«Добрые и простые потомки древних германцев» (фр.).

114

«Род безумия, кроткого, любезного и, в особенности, чуждого желчи» (фр.).

115

«Не дух человечности заставит всех нас заключить мир, а недостаток денег; мы будем резать друг друга вплоть до истощения запасов презренного металла». (Цит. не по первоисточнику.)

116

«Каждый принял решение, и думаю, что при этом мы и останемся. Всякого рода шарлатаны будут неизменно нести чепуху, умные люди, которых немного, — над этим насмехаться, ловкие мошенники — устраивать свои делишки. Время от времени сожгут какого-либо нескромного апостола. Мир будет всегда идти так, как он всегда шел. Но, пожалуйста, сохраните ко мне свою дружбу, мой дорогой философ» (фр.).

117

Функция Русского Бога не синекура (фр.).

118

Освободительная война (нем.).

119

Союз добродетелей (нем.).

120

«Отделанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в силу покорности стали мы великим народом». (фр.).

121

«Надо сознаться, причина в том, что мы имеем пока только патриотические инстинкты. Мы еще очень далеки от сознательного патриотизма старых наций». (фр.).

122

«Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-то важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем свершатся наши судьбы?» (фр.)

Т. е., вернее, лежащее вне области «смысла».

124

Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

125

В себе и для себя (нем.).

Теория всеобщего краха (нем.).

127

Чахотка цветущая (лат.).

128

Цит. не по первоисточнику: Jaures. La Convention. I, H. C. 546—547 532

129

Курсив Гегеля.

130

«Чего только не обосновывал или не пытался обосновать немецкий дух?» (нем.)

131

«Всякий диссонанс есть непонятная гармония; всякое частное зло — общее благо. Вопреки гордости, вопреки заблуждающемуся разуму, одна истина ясна: все существующее хорошо» (англ.).

Что же касается поучения, каким мир должен быть, то к сказанному выше можно добавить, что для этого философия всегда приходит слишком поздно. В качестве мысли о мире она появляется лишь после того, как действительность закончила процесс своего формирования и достигла своего завершения... Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы начинает своей полет лишь с наступлением сумерек.

133

Всегда слишком поздно (нем.).

134

Моя вина (лат.).

135

Моя величайшая вина (лат.).